

Настасья

Реньжина

БАБУШКА

СКАЗАЛА

СИДЕТЬ

ТИХО

Annotation

Баба Зоя живет одна, но регулярно печет кому-то пирожки и поглядывает на шкаф. Соседки, с которыми она изредка ходит в лес по грибы-ягоды, подозревают, что их подруга чуточку сошла с ума от одиночества и уверовала в существование домового. Но в шкафу дома с почти всегда закрытыми ставнями и правда кто-то живет. Кто-то косматый, кто не умеет разговаривать, никогда не выходил из дома и даже не видел неба. Вот только это совсем не домовый...

- [Настасья Реньжина](#)

-
-
- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)
- [Глава 19](#)
- [Глава 20](#)
- [Глава 21](#)
- [Глава 22](#)

- [Глава 23](#)
 - [Эпилог](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
-

Настасья Реньжина

Бабушка сказала сидеть тихо

Редактор серии Карина Буянова



© Реньжина Н., 2024

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *



Настасья Реньжина – молодой талантливый писатель, уже признанный в литературном сообществе. Обладатель награды «Слова на вес золота» от издательского дома «Аргументы и факты», финалист ряда значимых писательских конкурсов.

Родилась и выросла в Вологодской области. Пишет рассказы, повести и романы, занимается благотворительностью. В 2016 году получила государственный грант на модернизацию сельской библиотеки в Чагодощенском районе. На эти деньги было заменено устаревшее оборудование, закуплены планшеты, приобретен проектор для библиотечных мероприятий и обновлен книжный фонд. Настасья лично запустила акцию по сбору книг для библиотеки, в результате чего удалось собрать более 3000 книг.

«Бабушка сказала сидеть тихо» – дебютный роман Настасьи Реньжиной. В 2023 году он вошел в длинный список премии «Лицей».

*Посвящаю моему мужу Саше,
без которого не было бы
ни шкафа, ни Куприньки,
ни всей этой книги.*



Глава 1

Из старого шкафа – ни звука. Бабушка Зоя поставила перед ним две миски: одну с водой, вторую – с вареными яйцами и куском телятины. Поставила прямо на пол, нарочно громко, чтоб брякнула железная миска, чтоб слышал Купринька: кушать подано. Садитесь жрать без «пожалуйста».

Вода немного разлилась, затекла в щель меж досок, наполнила собой проплешину. Надобно бы покрасить пол, да вот когда? Это ж из дома уходить нужно, да на целый день, а с Купринькой такое невозможно, Купринька навеки к дому привязанный. А оставишь его, так задохнется от краски, как пить дать задохнется. Уж больно эти жители шкафов хрупкие.

В шкафу – тишина.

Сам шкаф насупился, накренился немного вправо. От старости потемнел зеркалом, поразошелся в швах, заржавел в петлях – от чего жалобно стонал, но в целом держался молодцом.

Под разохшиеся четыре ноги баба Зоя заботливо подложила свернутую во множество раз газетку. Под правые – по газетному развороту, под левые – по два (да еще и первые страницы, экий почет).

Шкаф чуть приосанился, но полностью выпрямиться отказался. Всем своим сколиозным видом он словно говорил: «Не тронь ты меня, старика, бога ради!»

А может, Купринька и не в шкафу вовсе? Да где ж ему быть, как не там? Заглянуть бы, разузнать бы, рассмотреть бы, да ведь, поди, спрячется, не покажется, не дастся.

Это он второй день подряд дуется за то, что бабушка Зоя уборку затеяла, да такую, что из шкафа-то всю одежду, все простыни-наволочки-пододеяльники повыволокла, растрясла их по улице, а какие и вовсе замочила в белизне да стирать принялась. Должно быть, не по нраву Куприньке пришлось, что разворошили его жилище. Должно быть, оно неприкосновенное. Он, небось, себе гнездо из баб-Зоиных платьев свил и спал преспокойно, а теперь вот все порушено. По-бабзоиному «вычищено» или «убрано».

И хотя баб Зоя еще вчера вернула весь шмот на место, и хотя запахло в шкафу свежестью и немного остатками белизны, Купринька, кажись, разобиделся: два дня отказывается принимать бабушкины дары. Говорят, им, таким как Купринька, нужно подсовывать конфеты да печенье, чтоб задобрить. Сладким брать надобно.

Бабушка Зоя со вчера положила на блюде перед шкафом свои любимые «Раковые шейки». Не конфеты, а наслажденьице райское! Но наутро обнаружила их на прежнем месте. Не тронуты, не съедены.

Такие дела.

Но конфеты же не пахнут, так? Может, не понял Купринька, что ему сладостей прислали, чтобы задобрить – успокоить? И вообще, как у него с обонянием-то? Чует что вообще? Нужно что-то ароматное выдумать, чтобы унюхал точно-преточно, чтобы устоять, усидеть (или в каком он там положении в шкафу?) не мог. Выполз чтоб. Поел чтоб. Простил чтоб бабу Зою. Пироги? Вот это дело! Пироги! Маковых ватрушек, Купринькиных любимых. И с яблочком еще, с яблочком, чтоб наверняка умаслить-ублажить-упирожить. А пока вот вода да яички, ну и кусок вчерашней отварной телятины. Завтрак, так сказать.

Бабушка Зоя понимала, что даров этих Купринька не примет, но кто ж знает, вдруг он есть не ест, а учет ее подаяний ведет. И если не подать, то поставит в своем умишке (или где еще) прочерк. Запомнит и как-нибудь бабе Зое отомстит. И непременно ночью, когда та спит, а он бодрствует. По ночам баб Зое кажется, что слышит она скрип (стон) двери шкафовой, сбитое дыхание, словно кто осторожничает, но не особо-то получается. А потом топот босых ног по полу: на кухню – с кухни, в комнату – из комнаты.

Зажечь бы лампу, да не решается бабушка Зоя. Во-первых, вдруг испугает Куприньку (если это и впрямь он), вдруг тот взвизгнет от света, со страху, вдруг не выдержит баб-Зоиною виду в застиранной сорочке и сонного ее взгляда. У Куприньки свои дела – ночные, важные, не стоит его отвлекать. Во-вторых же, это может бабушке Зое и казаться – все эти ночные звуки. Все выдуманно ею, темнотой комнатной навеяно.

Каждый вечер наглухо задергивает баб Зоя шторы, да еще и ставни закрывает: с улицы свет не проникнет. И вот в такой глухой темноте всякое может надуматься, разное может навеяться. А то и

вовсе спит бабушка Зоя, спит себе и слышит сны про скрип дверей да топот босых ног.

– На-кась, поешь-ка! – решила заговорить-таки баба Зоя. Поначалу не хотела. А то что ж – Купринька в позу, а ей терпи? Она тоже разобидеться может!

И бабушка Зоя помолчала-помолчала, с пару часов этак, а потом занемогла от вынужденной немоты. Невозможно же это: жить вот так, шуршать по дому, готовить еду и молчать. Это и скучно, и неправильно как-то. На что же человеку язык дан? Чай, не как собаке – не хвост нализывать.

– Тут вот водичка. Ее хотя б попей. Мяско вот. Правда-сь, вчерашнее ишшо. И яички. Яички... ой. – Бабушка Зоя всплеснула руками: – Яички-то не почистила! Ну надо ж! Ну, ничо-ничо, счас усе исправим, усе почистим, не беспокойси. – Сама на всякий случай прислушалась: вдруг Купринька и впрямь забеспокоился. Но нет, молчит старый шкаф. Притихли его сварливые полки, не скрипнут дверные петли. Не шелохнется Купринька. Бабушка Зоя стукнула по полу яйцом, аж прям с размаху. Тыщ! Пошли трещинки по белой скорлупе.

– Чи-ищу! Слышь ли? Чи-ищу. – Тихо в шкафу. Так тихо, что, казалось, слышно хруст скорлупы под тонкими, от старости и работы коричневыми пальцами баб Зои.

Второе яйцо хрясь об пол. А сама на шкаф зырк – ни движеньица. Яичные скорлупки сгребла бабушка Зоя с пола (да как можно шумнее) и в карман передника сунула. Не забыть бы вытащить курам на подкормку.

– Что ж. Не хошь, как хошь, – вздохнула баб Зоя, печально глядя на шкаф, словно бы с ним и разговаривала. – Я упрашивать не стану, уговаривать не буду. – Еще немного потарасилась на шкаф, после разогнулась (уж насколько смогла: полностью уже не получается – земля к себе зовет, в спине ломает) и прошаркала на кухню. Шаркала нарочно громко, пару раз аж притопнула. На кухне встала у печки да вслушалась: не скрипнула ли дверка? Не скрипнула.

Постояла-постояла бабушка, да и плюнула, вот прям слюной и прям на пол – все равно самой же потом мыть. Оголодает – вылезет. Наверное. Но от затеи с пирогами не отказалась. Достала пироговую кастрюлю. Это такая специальная, алюминиевая, большущая – руками

не обхватишь, в которой только тесто месится и ничего более. И никакой варки! Никакого нагрева!

Замесила тесто, накрыла бережно полотенцем вафельным: пускай стоит-подымается. Надо бы занять себя чем-то, пока тесто подходит, а из дому боязно выйти: вдруг Купринька появится. Его ж поймать нужно будет, помыть там, накормить опять же. Это если от кушаний не откажется. А коли откажется, так силой накормить. Бабушка Зоя за порог, а Купринька тут как тут и выйдет. Опять разминутся – не свидятся. А может, и ну его, встречи все эти? Она и без того знает, что сидит себе Купринька в шкафу, живет там и здравствует, по ночам шоркается по дому, а видется с ним и не обязательно вовсе. Ну уж нет! Бабушка Зоя схватила чугунную сковороду и ну ее тереть. Разозлили ее эти мысли-гадания, гадины: выйдет али не выйдет, поест али не поест. Словно забот у нее никаких больше под старость-то лет нет. Вот сковороду оттереть от гари надобно. И что, что та и без того блестит, отражает морщинистое сухонькое лицо бабушки Зои, то, как седые пряди из-под платка белого повыбились, в глаза, проклятые, лезут, а в грустных серых глазах словно притаилась молодость. Она бабушку Зою давно покинула, а в глазах вот осталась зачем-то, словно напоминание о годах, еще не омраченных ревматизмом и проблемами с сердцем. А может, это просто сейчас так разозлилась на Куприньку бабушка Зоя, что заблестели ее глаза, заискрились, ожили. Хоть от злости, но все же. И чугунная сковорода намыта уже не по одному разу, и чашки-тарелки начищены до блеска золою печной, и кастрюли на полках перебраны, а тесто все еще недостаточно поднялось.

Решила тогда бабушка Зоя все же выйти за тот самый порог, который всего час назад не решалась переступить. Курей, что ли, сходить проведать? Покормить горластых да яиц посмотреть. Что ж, вечно этого треклятого Куприньку сторожить? Уж нет! Увольте! Сменила бабушка Зоя домашний передник на рабочий, скинула тапочки, сунула ноги в калоши, на комнату обернулась и крикнула:

– Я к курям! Если хочешь, можешь за мной ступать! – И важно добавила: – Иди ты и все семейство в ковчег!^[1] – Тишина. – Не хошь, как хошь, – повторила свое любимое баб Зоя. Дверью скрипнула и была такова.

По возвращении из курятника (а еще из огорода и свеживыметенного двора) нашла бабушка Зоя очищенные яички и остывшее мясо нетронутыми, воду непитой, а тесто поднявшимся. Спасибо и на том. Хоть тесто радуется, хоть оно, родимое. Рассыпала бабушка Зоя по столу муку, рукой ее чуть прихлопнула, залюбовалась, как та в воздух поднялась да обратно осела. Тесто из кастрюли пироговой выманила да о стол его кинула. Пуф-ф – поднялась мука во второй раз. Эх, красиво. Накинула баб Зоя немного муки на тесто, чтоб то не цеплялось, за руки не хваталось, да как принялась его мять. Грубо, но с любовью. С одного бока, с другого, прокатила по столу, и опять бока тесту наминать, сложила вдвое – растащила, смяла – расправила, правую руку – в левый бок, левую руку – в правый бок. Тесто любит, когда его мнут долго, упорно, крутят по-всячески. После делила бабушка Зоя тесто на части, раскатывала в тонкие пласты, стаканом вырезала из него кружочки, запечатывала в них яблоки. Катала квадрат, посыпала его маком да поливала сахарным сиропом, сворачивала в рулет и нарезала в будущие витушки. Не прошло и получаса, как пополз по дому теплый пирожковый аромат, запах сладкого теста, подпеченных яблок и румянящихся в печи витулей. Вылез аромат из кухни, пробрался в комнату. Вот-вот и в шкаф проникнет, вот-вот и сдастся Купринька. Должен же? Должен сдастся! Как тут вообще устоять можно? Бабушка Зоя сложила пироги на подносе: витули с витулями, яблочные с яблочными. Себе парочку на блюде оставила, остальные накрыла полотенцем, словно одеялком, – чтоб не остыли. Налила чаю да стала ждать, когда Купринька сдастся. А тот и не подумал! Даже не пошуршал никак. Словно и нет его. Словно и не существует вовсе. Но быть такого не может! Он же настоящий! Купринька есть! Есть! Просто не хочет показываться. Да точно-точно. Не хочет и всего-то. К ночи затворила бабушка Зоя ставни, задернула шторы наглухо, зажгла свечу. Не удержавшись, взяла блюдечко с тремя витушками и пронесла его в комнату, поставила перед шкафом:

– Ну хоть так-то, – сказала. То ли себе, то ли Куприньке – непонятно. Села в комнате за столом, поставила перед собой зеркальце, перед зеркальцем – свечу, хихикнула глупо, по-девчачьи: «Будто на суженого-ряженого собралась гадать. Приходи поужинать». Сама спиной к шкафу сидит, якобы не заинтересованная. Зеркало же

на дверки направила, туда всматривается, и кажется ей, что бегут тени от шкафа к полу. Тени длинные, тени страшные. Бегут сумрачные, к бабушки-Зоиным ногам подбираются. Того и гляди – схватят.

– Купринька, ты ли это? – Дрожащим не от старости, а от испуга голосом.

Да нет же. Купринька не такой, Купринька нестрашный, Купринька не станет почем зря бабушку пугать. Принялась тогда баб Зоя Куприньку вызывать:

– Выходи, Купринюшка, выходи, родненький. Выходи-покажись, пирогами моими угостись, – напевала-умасливила она жителя шкафа. – Ночь уж на дворе, ничего тяперячи не страшно. Выходи, не бойси. Выходи ко мне, миленький.

Но не вышел Купринька, не отведал бабушкиных пирогов. Ждала-ждала, да не дождалась. Звала-звала, да не дозвалась. Свечу погасила. Спать легла. Спать да к ночным шорохам прислушиваться.

И этой ночью приходили сквозь сон бабушки-Зоин и скрипы дверей шкафа, и топот босых ног по деревянному полу, и даже словно стук мисок, всех сразу – и с водой (только бы не залилась в половицы), и с яйцами, и с пирогами. И чудилось в темноте, будто вылез Купринька из шкафа и ест все принесенное-поданное разом: яйца вприкуску с витулями да телятиной остывшей закусывает. Но по утру, расшторив все окна, раскрыв все ставни, обнаружила бабушка Зоя дары все свои нетронутыми. Нет, не вылезал Купринька, не бродил по дому, не бренчал мисками – приснилось ей все это. Вот, правда, словно бы приподнято полотенце на пирогах, словно бы витулей поубавилось. Или все это старушкино воображение? Кто ж его теперь разберет.

Глава 2

Когда появился Купринька у бабушки Зои, уже и не упомнишь. Лет пять ли, шесть ли назад. А может, и все восемь. Эх, надобно было в календаре отмечать, что ли, или засечки на дверном косяке ставить. Но засечки, чтоб сроки считать, – это как в тюрьме словно бы. Негоже. И почему именно в шкафу?

Бабушка Зоя убеждала себя, что так вернее, Куприньке там теплее, надежнее. Можно было бы, скажем, под кровать поселить, но там пыль. Да и не больно-то сокрыто подкроватное от глаза людского. В остальных тумбах места все же маловато. А в шкафу более-менее свободно. А Купринька растет. Вроде как. Можно было в печь его определить – вот куда никто не заглянет, но там огонь. А не огонь, так зола – перепачкается весь. А не зола, так бабушка Зоя совочком шкрябает – вдруг заденет. Можно на печь. Там точно хорошо: тепло и подушек много, но слишком уж светло и занавесочки не спасают все от того же людского глаза. В погребе еще хорошо, вольготно, ничего, что немного влажно и слизи ползают, зато можно пошуметь, когда захочется, но Купринька на погреб не согласен. Может, бабушка Зоя придумала это несогласие, но все же ей так показалось. Так что только шкаф. И ничто иное. «Шкап» – как его называла сама бабушка Зоя. Куприньку прижила она по всем правилам: завернула сначала в тряпицу, да не в чужую, а свою, личную. Кажись, то платок был шерстяной-собачий, теперь уж точно не скажешь: платок ли, халат ли, простыня ли. Как-то не до того было. Тряпицу эту сграбастала и в дом понесла.

Купринька сидел тихо, не шелохнулся, голоса не подал. Да его и не видно было из-под тряпок-то. И вот прям весь сверток бабушка Зоя прямо в шкаф и положила. Не разворачивая. Говорят, не нужно разворачивать-то. Это чтобы привычнее запахи были новоселу. И не трогала первое время Куприньку бабушка Зоя, ждала, пока тот пообвыкнется. Говорить с ним не понимала как. И по дому шуметь боялась: а вдруг Куприньке не понравится. А потом осмелела и заговорила (поначалу безответно), и прикармливать стала. А до Куприньки жила бабушка Зоя одна. Был у нее отец, но ушел на фронт

и не вернулся. И истории героической или не героической – печально-тяжелой – нет. Сел с другими новобранцами в поезд на ближайшей к их деревне станции. А поезд взял, да и пропал. До фронта так и не дошел, словно испарился. И все солдатики, в нем ехавшие, враз пропали без вести. Но то на бумагах, пришедших родственникам, а что на самом деле и с поездом, и с отцом случилось, кто ж теперь скажет. Тогда не сказали, а сейчас – уж и тем более. Была мать, но то ли от тоски по отцу, то ли от болезней каких неведомых зачухла за пять послевоенных лет, оставив Зою на попечение тетки и двоюродного брата. Брат, когда вырос, мотоцикл купил. И разбился на мотоцикле этом. Не сразу, конечно: несколько недель, а то и месяц покрасовался, погонял по деревне. А потом слетел с моста – и все, не стало у бабушки Зои (тогда еще не бабушки) и брата. У брата невеста была. Дуня. Теперь уже Авдотья Петровна Щеглова, жена председателя колхоза «Дружба», мать троих детей, бабушка семерых внуков, женщина дородная, пышная, несмотря на почтенный возраст – оч-чень даже бодрая.

После смерти брата Дуня, простите, Авдотья Петровна, еще какое-то время приходила к Зое и тетке в гости, а потом перестала. А потом и вовсе стала делать вид, что никакой Зои не знает. И по сей день с бабушкой Зоей не здоровается, что по деревенскому этикету, в общем-то, не принято. Бог ей судья, как говорится. Тетка после смерти брата еще какое-то время пожила, но тоже оставила Зою, когда той едва исполнилось восемнадцать. Самый цвет молодости, а она уже всех, кого могла, похоронила. Переехала из теткиного дома в родительский: чужого-то не надо, коли свое имеется. Заходить в родительский дом после нескольких лет отсутствия боязно, но любопытно. Екнет ли сердце? Не откажут ли ноги нести тебя за порог? А вот казалось бы: теткин дом и дом родительский на соседних улицах стоят, отчего бы не ходить, не навещаться в свой, родной? А все было некогда, а все находились внутренние отговорочки. И делать, мол, там нечего, и ходить-то туда незачем. За многие годы дом не изменился. Разве только прогнил нижний ряд бревен, нужно заменить. Крыльцо покосилось немного, но и это поправимо. А внутри все то же, только пылью покрытое. Старая печь с чугунками, стол на кухне, посуда к обеду расставлена, так и не поели с матерью в последний раз, скрипучие полы, потускневшие зеркала, огромный шкаф,

разделяющий комнату на две зоны – гостиную и спальную. Зоя прошла за шкаф. Здесь две кровати: ее и мамина. Полежала на своей, словно мала та стала, не по росту, не по возрасту. Легла на мамину. Хорошо. Уютно. Пыльно. Три дня понадобилось Зое, чтобы пыль поразогнать, перину взбить, чугушки перемыть, убрать со стола посуду – уже не отобедаем, – намыть полы, раскрипеть их постоянным хождением туда-сюда, туда-сюда. Повесить новые занавески. Привести в порядок зеркала. Разложить да развесить одежду в шкафу. Умаялась. Устала.

Вы не подумайте, женихи к Зое сватались. По молодости она, пускай, и не первой красавицей была, может, и вовсе не красавицей, но все же девушкой приятной наружности. Тонкая, хрупкая, юркая, а руки сильные, работающие. Таких в деревнях любят. Коса с кулак толщиной и до пояса. И глаза серые-серые, веселые-веселые. А как бровью пшеничной поведет, так и позабудешь обо всем на свете: кто такой, как звать, зачем пришел. Женихи сватались, да все не те, не по Зое. Хаживал к ней, например, Егор. Парень статный, парень видный, с вечно искомой в деревенских парнях косой саженью в плечах. Пришел он, помнится, к Зое и сразу в лоб и говорит:

– Давай я тебе забор поправлю, а ты за меня замуж выйдешь.

Но Зоя хитрая, так отвечала Егору:

– Давай ты мне забор поправишь, я тебя борщом напою, а за борщом обсудим твои планы на женитьбу.

На том и договорились. За борщом потребовал Егор у Зои рюмку водки. А у той отродясь алкогольного не водилось. Разве что в настойке на одуванчиках. Но Егор подумал-подумал и решил, что одуванчики пить не будет – горчат, поди. И выудил из внутреннего кармана фуфайки чекушку, себе налил (уж рюмка-то нашлась у Зои на кухне), Зое предложил, но та отказалась. Так и отобедывал: три ложки борща – рюмку водки, три ложки борща – рюмку водки. Чекушка быстро вся в Егора и ушла. Жених не растерялся, за второй сбегал. А потом за третьей. А потом рухнул головой на Зоин стол, одна рука в остатках борща, последняя чекушечка по полу звонко прокатилась.

И решила тут Зоя, что не будет женой Егора. Когда тот проспался, сообщила ему о своем решении. Егор разозлился, ушел, дверью хлопнул, да так, что только что поправленный забор повалился обратно. Егоров водочный запах после целый день выветривался. А

потом Егор запил, так запил, что нашли его мертвым в канаве: уснул лицом в воду и захлебнулся.

Вся деревня трещала, что это любовь к Зое его сгубила, что Зоя ему отказала, вот он с горя и начал пить. Но Зоя-то знала, что вовсе не она причиной Егорову пьянству. Ходил к Зое и Борис. С ним поначалу все ладно было. Цветы носил, по хозяйству кой-чо помогал. И не пил. Совсем. На вид Борис был не особо красив: мелкий, без передних верхних зубов, шрам на щеке (говорил, что собака в детстве цапнула). Но разве мужиков за внешность любят?

Борис был Зое не противен, но любви все же не чувствовалось. Но разве она так уж нужна? Разве любовь – основа счастливого брака? Вон, сколько семей живут без любви, детей растят, внуков нянчат, и ничего. Ну, поругаются порой, да разве ж без ругани хоть одна семья обходится? Вот только не нравилось Зое, что Борис ее то по колену под юбкой погладит, то за ягодицы в курятнике ущипнет.

– Нельзя же до свадьбы, Боренька, – хмурила брови Зоя.

Тот ухмылялся:

– Так будет же, будет свадьба, а ты пока дай тебя помацать чутка. От тебя же не убудет.

И Зоя решала, что чутка, пожалуй, можно позволить, но всякий раз, когда Борис тянул к ней свои руки, она ударяла по ним, избегала их. Словом, по-прежнему не давалась. И повторяла:

– До свадьбы нельзя.

А Борис все обещал.

– Да будет, будет свадьба. – Но замуж не звал. А потом зажал Зою как-то в чулане, юбку ей задрал, в панталоны полез, задышал ей в лицо: – Все равно же моя будешь. – Зое так противно стало, так обидно, так липко все это. Схватила она утюг, тяжелый такой, старинный, еще от бабушки оставшийся, и огрела им Бориса по голове. И убежала. Закрылась в комнате и слушает: ушел ли обидчик. А от того ни звука. Умер, что ли? А проверить-посмотреть боязно.

Так и сидела Зоя в комнате, от страха тряслась, от страха же Борису, возможно умирающему, помочь не решалась. Лишь под вечер услыхала возню в коридоре да постанывания: очухался «жених». Из дома выполз. По счастью, ломиться в комнату не стал. То ли испугался, то ли плюнул. Под окнами только остановился и крикнул:

– Стерва! – Может, даже кулаком погрозил в окна или еще какой непристойный жест сделал. Кто ж его теперь знает: к окну Зоя поостереглась подходить. Высидела с полчаса, а потом в кладовую заглянула: на полу небольшое пятнышко крови, значит, не так и сильно ударила. Хорошо, что не в висок.

Зоя взяла тряпку, хлорку и долго оттирал пятнышко, а все равно от него темный след остался. Видать, в напоминание ей о том, что мужикам верить нельзя. Да загляните в кладовку – пятно и поныне там. После Бориса Зоя всех женихов по-новому мерила и неизменно отваживала от себя. У этого взгляд не нравится, этот слишком рано лысеть начал, этот как-то странно говорит, небось, что-то плохое скрывает, у этого улыбка нехорошая, у этого ручки огромные, такими и удавить можно. А этот вот вдовый, второй раз жениться собрался, а вдруг первая-то жена не своей смертью померла? Кто ж теперь знает. Так и прожила всю молодость одна. Ближе к тридцати сватались уже к Зое меньше, а после тридцати пяти и вовсе перестали. Правда, был один старичок, сватался, когда Зое пятьдесят стукнуло. Старичок хороший, добрый, с букетами ходил и ничего не требовал, кроме чаю. Так говорил:

– Вы, Зоенька, одинокая. Я одинок. Давайте вместе жить. Мне ничего не надо, только вот скуки не терплю. А так хоть поговорим вечером за чашкой чая, телевизор вместе посмотрим. Вы вот что любите? Я больше новости. А вы, наверное, любовные сериалы?

Зоя пожимала плечами:

– Наверное.

Старичок продолжал:

– Спать можем на разных кроватях. Так лучше. Так удобнее. Вот вы по ночам не храпите?

– Не храплю, – отвечала Зоя.

– Это ж замечательно! – восклицал старичок. – Просто за-ме-ча-тель-но! Я тоже, знаете ли, не храплю. Вот, видите, мы с вами идеально друг другу подходим. – Зоя зачем-то согласительно кивала. – Так что же? Решено? Съезжаемся? – торопился старичок с совместным проживанием.

– Решено, – соглашалась Зоя.

– Жить, я думаю, будем у вас. У вас огород поболее, да и курицы имеются. Не тащить же их ко мне. Правильно?

– Правильно, – подтверждала Зоя.

– Что ж, тогда по рукам, – старичок осторожно коснулся Зоиной ладони. – Сегодня вещи собираю, а завтра с утра к вам переезжаю. Ну, прям стихи! – Зоя согласно закрыла глаза. Но не приехал старичок. Помер. Нашли его следующим утром в его же доме посреди груды полусобранных вещей. Отказало сердце. Хотелось бы верить, что от счастья.

Зоя еще кота завела, чтоб от скуки не так маяться. А надо было кошку! Кот едва подрос, стал из дома уходить – гуляющий оказался. Неделями не видать. Вернется, под окнами заорет, как блажной, бабушка Зоя ему вынесет сметаны, воды да прочих яств. Кот нажрется – и спать. Его бабушка Зоя немного повычешет, клещей повытащит, приведет чутка в порядок. А кот выпитися и опять шляться. Так что даже кот не составил компанию бабушке Зое. Вот и жила одна с приходящим котом да курицами, пока не появился у нее Купринька.

Глава 3

– Скажу тебе сказочку. – Бабушка Зоя привалилась спиной к дверке шкафа, складки на переднике расправила, руки сверху положила. – Коли не выходишь, так слушай же. Жила-была королева. Лучше – царица, потому что было у нее свое ма-ахонькое, но уютное царство. Вот только жила в своем царстве царица одна-одинешенька. Забегали к ней рыцари заморские, да всех спровадила, ибо неча тут в ее царстве доспехами своими пол пачкать да бряцать на весь двор железяками энтими! У рыцарей же как: лапти железные острые, больно пинаются, а штука эта, ну, что на лице, как ее там? Где шлем которая. Тьфу-ты! Забыла! В общем, стучит она противно, хуже челюсти вставной. О как. Неча таких рыцарей во дворы царские пускать, а про покои и вовсе молчу. Хорошо было царице, вольготно, да только скучно, хоть целый день зевай да мух в окне считай, лови их и крылья отрывай потехи ради. – Тут бабушка Зоя спохватилась: – Ты только так не смей делать? Хорошо? Крылья мухам не отрывай! Это царица от скуки так хотела, да и то не делала. Понял? Да-а. Дальше вот что. Завела себе царица не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку. Зверушка хороша, добра, презанятна. Жаль только, неласкова. Стала тогда царица за зверушкой ухаживать: кормить, поить, умывать, гребешком шерсть чесать, песни петь колыбельные. А зверушка та неблагодарной оказалась: в одну ночь цап царицу за руку, ну укусила то бишь, и убежала. Уж как царица плакала, как звала свою зверушку, та не выходила. Решила царица, что убежала зверушка в лес темный, лес еловый, да в самую чащу, да съели там зверушку лесные звери, разорвали на кусочки, обглодали белы костоньки и не подавились. Одедась тогда царица во все черное с головы до пят: черный сарафан на черную блузку, черные колготы, черные туфли, а на голову повязала черную ленту. Одедась во все черное и стала чахнуть. Чахнуть? Знаешь, что такое? Это значит плохо ей было, она стала такая кривая вся, косая, серая на лицо, то-о-о-ощая. Понял? Да-а. И без того было царице скучно жить в ее уютном царстве, а без зверушки стало ну совсем невыносимо. Чахла-чахла царица, да и сдохла наконец. И тогда-то выползла зверушка

царевнина из подпола – она там все это время пряталась и причитания царевнины слышала, и как сохла та, видела – да поздно уже. Не вернуть царевны, не оживить кормилицы. Завыла тогда зверушка с горя. Выла-выла, а потом взяла и тоже издохла, потому что исть стало нечего. Вот и сказочке конец. Слушал ли? Молодец ли? Сказка, знаешь, ложь, а в ней намек. Понимаешь меня, Купринька?

Но молчит Купринька. Ничего он в сказках не смыслит, никаких уроков из них не выносит. Надобно бы баб-Зоины сказки записать в одну тетрабочку, мало ли кому потом пригодятся. Али самой для памяти. Купринька-то читать вряд ли сумеет, ему ни к чему. Дай бог, если выслушает. Дай бог, если поймет, что к чему в бабушкиной сказке. Уж сколько она их порассказала ему! У-у-у, не перечесть! А все впустую, а все зазря. Не учат ничему Куприньку сказки, особенно через шкаф сказанные. Он, небось, и не слушает их вовсе. Или так, в пол-уха. И ничего, что уши у Куприньки ого-го какие – лопаухие. Бабушка Зоя свои, нелопоухие, наострила: слушала-слушала шорохи в шкафу, а ничего не расслышав, вдруг запричитала:

– Бедная я, несчастная. Никому-то я не нужна горемычная. Никто меня не приголубит, сиротинушку. – И слезу пустила. Слезу, конечно, ни к чему, все равно Купринька не видит, но так все же убедительнее. Самой себе тоже верить надобно. – Жила-жила себе распрекрасно, – продолжала бабушка Зоя. – А потом нате, получите-распишитесь Куприньку вам. А тот, неблагодарный, мяса моего не ест, пирогов моих не кушает, лишь кровь мою пьет. – Тут она ка-ак принялась биться головой о шкаф, сначала слегка, потом все сильнее, сильнее, сильнее. СИЛЬНЕЕ. И вот уже того гляди и затылок расшибет в кровь. Глаза у бабушки Зои закатились, лишь белки торчат. Белки желтоватые от старости или от проблем с печенью – решать этот вопрос некогда. Волосы из пучка повыбились, наэлектризовались от частых ударов или от мыслей дурных, дыбом восстали и словно даже шевелятся. Этакая баб Зоя-горгона. И вот она уже бормочет что-то страшным трубным голосом, что идет словно из самого ее чрева:

– Зачем... Мн-мн-мн. Без-з-з-з. Утащить. Утащить. Ута-ута-ута-та. Та-та-та... О-о-ома... о-о-о... м-м-м... м-м-м... м-м-м... неблагода... р-р-р-ры... ры-ры-ры-р-р-р. Не. Бла. Зачем-зачем-зачем-зачем? А? А? М-м-м... о... о-о-о... взяла. Взяла-а-а. Не мое-о-о-о. Не надо-о-о-о. Взяла-а-а-а. Вернуть-вернуть-вернуть-не верить. Мое. Не

отдам-м-м-м. – Глаза закрыла. Из стороны в сторону покачивается и твердит: – Мое-мое-мое-мое. Не отдам-м-м-м. – А потом как повалится на пол. И как стукнется, и звук такой, будто деревом по дереву, – ПУК. И лежит. И словно не дышит. И никому нет дела до бабы Зои. А потом по телу ее побежали мелкие судороги. Вся в конвульсиях дергается, по полу мелкой дробью расходитя. Особенно громко в ногах, там домашние тапки помогают – вторят ударам. И замирает. Затихает. Успокаивается. Лежит себе смирно. По щеке слеза катится, теперь уже настоящая, не вымученная-выдавленная, а та, которую приходиться не просили, а она все равно накатила. Даже тут не вышел к бабушке Зое Купринька. Не пожалел ее. Не испугался, что останется один-одинешенек. Нет ему дела до этого всего. Ему хорошо в шкафу, спокойно, а все, что за шкафом творится, – не его забота. Полежала-полежала бабушка Зоя на полу, а потом враз вскочила (уж как старушки могут вскакивать), отряхнулась, громко отряхнулась, чтобы слышно было сквозь шкаф, бубнить принялась: – Все-то ему ничего. Все-то ему всё равно. Пригрела змеюку на груди своей под старость лет. Господь будет судьей между мной и тобой^[2]. У-у-у. – И погрозила пальцем шкафу. А толку-то? Все равно Купринька ее не видит. Одернула бабушка Зоя передник, ногой притопнула, аж как-то театрально получилось, не совсем взаправду словно. Но топай не топай, а внимания не добьешься. Пустое это. Пустое и детское, что ли. Купринька вон ногами не топает. Получается, он взрослее бабушки Зои? Получается, что так. Так что не нужны ему сказочки, он не верит в них. А где ж тетрабочка с записями? Бабушка Зоя порылась в мешочке под зеркалом: там доживали свой век старые газеты, ожидая, когда их пустят на заклею осенних окон, хранились поздравительные открытки от дальних родственников, которых не помнишь на столько, что они уже и не родственники словно бы. И пряталась та самая тетрабочка в косую линейку. Сорок восемь листов. Исписано пять. Стало быть, это бабушки-Зоин дневник, что ведется нерегулярно, по самым важным событиям. Вот, скажем: «Понедельник, 2 марта (год не указан). У меня появился он». Запись короткая, потому что день был нервный и суетный. Больше написать не нашлось тогда ни сил, ни времени, а отметить дату хотелось все же. Какой же это год был? 2010-й ли, 2012-й ли? Нужно было сразу записывать. И Купринька тогда еще не Купринькой был, а так – безымянным. Купринькой он чуть позже

стал. Где же это? Ага, вот: 5 мая, опять год не написан. «Предумала новому житилю имя. Назвала Купринькой в честь писателя Куприна». У бабушки Зои книг немного, две всего: Библия и томик рассказов Куприна. От матери еще достались.

Бабушка Зоя их не читала, это вообще не ее – читать. Глаза болят, да и зрение с юности ужасное, да и дел без чтения по дому полно. До того ли? Библию, правда, полистала, кой-какие цитаты оттуда выхватила, постаралась запомнить, а что с первого раза не усвоилось, то еще перепрочла. Все так, урывками – на этой странице предложение, на той другое.

Вот и хватит с бабы Зои. Но томик Куприна был ее любимым. Темно-синий, с истершимися золотистыми буквами, шероховатый.

Бабушка Зоя часто снимала его с полки и гладила, гладила, гладила морщинистой рукой, окончательно стирая золотые буквы на обложке. Книга медленно увядала и старилась вместе с бабушкой Зоей. Придет время, и она так же окончательно посереет, стухнет и умрет. Закопают Куприна в землю вместе с бабушкой Зоей: она будет гнить, поедаемая червями, отделяться плотью от костей, а томик развалится постранично и осыплет белые баб-Зоины косточки бумажной своей трухой. А вот еще в марте, уже другого года: «Купринька шумит. Марья приходила, чуть ни выдался ей. Сказала ей, что крысы в подполе завелись. Кажись, поверила. Марья чай пила, а я все слушала, не будет ли еще шуршать». И на следующий день: «Марья всем растрезвонила, что я головой тронулася. Говорит, что мне шорохи мерещатся там, где их нет, и что я глазами страно кошу, когда чай пью. Будто у меня в комнате кто сидит, а там нет никово на самом деле. Я вот чо думаю: пускай так думают обо мне. Так лучше, чем про Куприньку моего прознают. А сумасшедшую и стороной обходить начнут». Но не начали. Иногда за спиной баб Зои у висков пальцами крутили, но в гости все равно навевались. Беда-беда. И не спровадишь ведь, не выставишь, в чае да баранках не откажешь. Как-то не по-соседски это, не по-деревенски. Не поймут, нет. Ну, а что пальцы у висков? Пусть себе крутятся! Жалко, что ли? Лишь бы не переломались. Да, тетрабочку бы вести почаще стоит. Записей мало, да все короткие. Самая длинная про Марью как раз.

Нет, бабушка Зоя не ленивая вовсе. Нет. Просто писать не любит – глаза уже не те. Больно напряженно писанина эта выходит. А память

нужна.

Хорошо бы Куприньку фотографировать, тоже для памяти, да нельзя. Отчего нельзя, бабушка Зоя толком не знает, просто чувствует так, что не стоит этого делать, не стоит. Вот сказку бы сегодняшнюю позаписать. Хорошо-неплохо. О чем она там? О царевне была, что в одеждах черных издохла от грусти. О царевне... Ну, какая же она царевна? Вот, какая с бабы Зои царевна? Погорелого театра! Ишь, чего думала: не желаю вроде как быть столбовой дворянкой, а мечтаю быть владычицей морскою! Где мое разбитое корыто? Не то ли, в котором Куприньку купаю? Или не корыто это вовсе, а жизнь моя вся разбита, да так, что к рыбке не ходи, рыбку не проси ни о чем. Тьфу ты ну-ты! Сплошные сказки в голове! Надобно будет еще Куприньке рассказать. Коли выйти надумает.

Глава 4

– Купринька, радость моя, выходи! Возведи глазья твои и посмотри к северу, к югу, на восток и запад^[3]. Вечор уж наступил.

Сегодня отобедал Купринька бабушкиными щами, по сему можно считать, что простил. Всю тарелку вылакал и хлебушком закусил. Любо-дорого. Так что к вечеру приготовилась бабушка Зоя ко свиданьцу. Едва сумрак наступил, ставни захлопнула. Но ставни старые, старше бабушки Зои, поиссохшиеся, щелятся местами, поэтому на всякий случай окна еще и зашторила. Шторы плотные-плотные, ни свет, ни недобрый взгляд не пропустят. Разожгла тут да там свечи и одну лампадку, оставшуюся с незапамятных времен. Можно, конечно, и электричество бы оставить, но на всякий случай лучше все повыключить. И от соседей, чтоб не долбились в дверь, чтобы точно видели: в доме все спят. Ведь, коли свет электрический в щель дверную кто углядит, не отнекаешься, не оправдаешься, чего эт не отворяла. А свечное свечение и само в щели не ползет, а ежели уж и просочится как-то случайно, то всегда можно на ночник списать. Боюсь, мол, совсем-то без света спать, нужна мне крохотная лампочка, чтоб кошмары ночные отгонять. А потом Купринька света большого боится (баб Зоя так порешила). Потому и днем из шкафа не выползает. А по ночам – только при свечах. А ему надобно хоть маненько прогуляться, хоть по дому из угла в угол – и то хорошо.

«Встань, ходи по земле в долготу и ширь»^[4]. Бабушка Зоя поскреблась по дверкам шкафа:

– Выходи, милой, выходи. – Купринька поскребся ей в ответ. – Давай-давай, – поторапливала его бабушка Зоя, – ужин уже стынет. Дверь тихонько скрипнула, приоткрылась, и выкувырнулся наружу человек. Сам махонький-махонький, про таких пишут сказки, где их «Мальчик-с-пальчик», пузо на выкате, голова лохматая-прелохматая, месяцами нечесаная (не дается ни подстричь, ни расчесать). Карие глаза, даже не карие – почти черные, что смородинки, по комнате быстро прошарились и успокоились. Человек отполз на четвереньках от шкафа, после привстал и уже лягушкой до дивана доскакал.

– Телевизер не будем сегодня глазеть! – сказала бабушка Зоя. – Вредно. – Человечек словно бы ее понял, иначе отчего это он завыл протяжно? Чуть ли не по-волчьи, только что голову кверху не задрал. Ох, и громко еще так. Бабушка Зоя инстинктивно закрыла ему рот ладонью:

– Тишь ты! Тишь! Услышат же! Тс-с-с. – Человечек оттолкнул ладонь от лица своего, разворчался, что собака, у которой кость отбирают. Даже зубы чуть оскалил. Звереныш – ни дать ни взять. Но бабушка Зоя завесила телевизор покрывалом: был экран и пропал.

Купринька рот от удивления открыл и глаза протер. «Ф-ф-ф-ф», – распыхтелся. Каждый раз этот фокус проворачивается бабушкой Зоей как впервые. Пропадает телевизор под покрывалом бесследно. Хоп – и нет ничего, одна тряпка болтается, и смотреть уже не посмотришь. И Купринька, наивное, глупое дитя, верит, что все исчезло бесследно – весь телевизор, все программы вместе с ним. Купринька один раз выглянул раньше положенного из шкафа, вечер был, но еще не полностью стемнело. Бабушка Зоя смотрела новости и не заметила, как Купринька пробрался за диван и стал смотреть вместе с ней.

А в новостях что? Ничего ж хорошего каждый день. Рубль падает. Американцы расстреливают друг друга, это все потому, что у них там оружие даже младенец может так просто взять и купить. Шахтеров вон завалило, пятеро под землей все еще. А в Сибири пожар, не потушить. Террористы опять же везде: убивают.

Нельзя Куприньке такое смотреть. Никакое Куприньке нельзя смотреть! И самой бы бабушке Зое перестать, да это ж как наркотик: едва шесть пробьет (а у бабушки Зои именно такие часы, что бьют каждый час, негромко, но бьют), как ноги сами к дивану несут, руки сами пульт в руки берут, а там уже «Добрый вечер. В эфире новости».

И пропал. И не слышишь ничего, и не видишь ничего – информацию выпитываешь. Но маленько все же нужно, иначе откуда еще правду о том, что в мире творится, узнать? От Анфиски-балаболки из третьего дома, что ли? Или все же от Екатерины Андреевой? Анфиске никто в деревне не верит, а Андреевой – вся страна. Так-то. Куприньке же не положено знать, ни кто такая Анфиска, ни кто такая Андреева. Неизвестно, что он от этих особ понахватается. Он ведь жизни не видал! Не то что бабушка Зоя, вот та может отличить, как говорится, зерна от плевел, правду от вранья бесстыжего. То-то же! А

Купринька взял и подглядел. взял и отсмотрел целый выпуск новостей. Там, правда, не Андреева была, другая какая-то ведущая, фамилию не упомнишь уже. И бабушка Зоя Куприньку не заметила, пока тот не крикнул из-под дивана: – У-у-утин. У-у-утин.

В тот вечер много про президента говорили. Бабушка Зоя испугалась, подпрыгнула на диване. Увидела Куприньку и испугалась еще больше.

– Ты зачем вылез? – закричала бабушка Зоя. Руками замахала. – Нельзя! Нельзя! Фу! Назад! Назад! – Подопнула легонько Куприньку к шкафу. Купринька зарычал, засопротивлялся, к телевизору кинулся и ну по нему рукой колошматить. – Фу! Фу! – еще громче закричала бабушка Зоя. А Купринька не унимается. Схватила его тогда бабушка в охапку и в шкаф кинула. Как и сил хватило.

Купринька в шкафу колотится, кричит оттуда:

– У-утин! У-утин! – Пришлось бабушке Зое привалиться к дверке спиной, чтоб не вырвался. Насилу тогда успокоился, все бился и бился в дверь, аж шкаф дрожал да трясся. С тех пор к телевизору Купринька не допускается. Не забывать бы еще экран занавешивать, чтобы не бередить первобытные чувства человека. Купринька отвернулся от завешенного покрывалом телевизора.

– Ням, – говорит.

Бабушка Зоя расплылась в улыбке:

– Это можно. Это я могу. Все труды человека – для рта, а душа не сытая^[5]. Ступай за мной.

Купринька перекувырнулся через голову, попробовал повторить за бабушкой Зоей – пройтись прямо и на двух ногах, но не удержался, бухнулся об пол. Не заплакал. Голову почесал недоуменно, а затем по привычному, отклячив попу кверху, на несогнутых задних лапах, быстро-быстро перебирая передними. Бабушка Зоя оглянулась, ухмыльнулась: уж до чего смешон Купринька, до чего забавен. За стол его сама усадила, а то опять всю посуду сметет, за скатерть хватаясь. Бывало уж такое, и не раз. А коли скатерть убрать, то уж совсем не по-человечьи выйдет.

Первое время пыталась баба Зоя Куприньке в миску еду насыпать да под стол ставить, но как-то оно неудобно: кто-то шебуршит под ногами, чавкает, разливают и рассыпают все. И потом, как проконтролируешь, хорошо ли поел Купринька, сытно ли, до пуза ли,

аль развозил все по полу, в щели затолкал и справился? Да и первое время Купринька совсем беспомощный был, без бабушки Зои не справлялся никак. Так что пришлось приучать его за столом сидеть (худо-бедно получилось) да кормить самой с ложечки.

В дни, когда Купринька дулся, вот как вчера да позавчера, выманивать его из шкафа едой, а как вылезет, все равно за стол усаживать. Что ж он, зверь какой, что ли, чтоб не за столом есть?

– Куда ж ты торописся, чудушко? – Бабушка Зоя легонько шлепнула Куприньку по рукам, которыми он пытался залезть с тарелку со щами. – Горячо же еще! Горячо-о, жога-жога, – приговаривала бабушка, дуя в тарелку.

– Фу-у-у-у-у, – пытался повторить за бабой Зоей Купринька. Он смешно надувал щеки, краснел и громко выдыхал, но воздух направлял куда-то в сторону, не на суп, а больше к окну или в угол куда.

– Ай, сама! – махала рукой бабушка Зоя. – Сама справлюси. – Затем хватала ложку: – Ну-кась, теперячи попробую. – И еще раз, подув на ложку, отправляла щи себе в рот. – Нормально, – выносила вердикт. – Подостыли ужо. – Спohватившись, бросилась к печи, схватила полотенце и повязала его Куприньке на шею. – Чтоб не увязюкался, – пояснила ему. – Исть нужно по-человечьи, понимаешь? В надгруднике и приборами, – с этими словами вновь взялась за ложку, вновь окунула ее в щи, вновь сунула себе в рот, пожамкала вставной челюстью, а затем выплюнула суп, превратившийся в кашицу, обратно в ложку. – На-кась, ешь, – и протянула ложку Куприньке. Тот нехотя раскрыл рот. – Да поширше! Поширше! Ши-и-ирше давай! – скомандовала бабушка Зоя. – А то все щи по столу разольются. Ну! Купринька разинул рот поболее. – О-от, другое дело, – пропела бабушка Зоя и варварски засунула ложку ему в рот, задев твердое нёбо. Купринька аж закашлялся. Бабушка Зоя тут же подскочила и ну стучать со всей старушечьей силы Куприньке по спине и приговаривать:

– Куды? Куды ж ты торописся? Там и давиться ужо нечем, а он, глядите-ка, подавился. Нет, не стать тебе человеком, не стать ни в жисть.

Купринька потупился.

– Бу, – только и сказал.

– Вот тебе и «бу», – передразнила его бабушка Зоя. – Хлеб будешь? – И, не дожидаясь ответа, отломил четверть хлеба, разжевала его в тюрю, щедро приправив его слюнями, чтоб мягче был, вывалила хлебную тюрю на стол. – Вот. Закусывай. – Купринька ткнул в то, что пять минут назад было хлебом, пальцем. – Да черный это, черный, – успокоила его бабушка Зоя. – Сайку больше не покупаю, не бойси. – И, дабы ускорить ужин, схватила пережеванный хлеб и втолкала его Куприньке в рот. – Можешь не жевать, – уточнила. – Так глотай.

Во время ужина бабушка Зоя работала за двоих: жевала себе, жевала Куприньке, кормила себя, кормила Куприньку. Устала, разумеется. Утомилась. Но Куприньку еще помыть надобно. Купание он невзлюбил с самого первого дня. Вот как заблажил, едва только бабушка Зоя опустила его в таз, так и по сей день блажит, едва воды коснется. Термометров баба Зоя не имеет, действует по старинке, определяя горячесть воды локотком. Но то ли локоток под старость лет подводит своей нечувствительностью, то ли Купринька такой неправильный, но все ему горячо: тельце краснеет все, как после жаркой бани, а сам он орет. Хорошо, что не во все горло. Знает, что орать нужно тихо, а не то...

Тут бабушка Зоя по сей день так и не объяснила Куприньке, что произойдет, все равно не поймет. Да она и сама толком не знала, что будет: соседей вот опасалась, как бы не услышали.

С годами Купринькин ор перешёл в тихое повизгивание, не столько громкое, сколько неприятное. Так что, как ни крути, мероприятие их ждало «нервенное». Хорошо бы намыть хоть раз в неделю Куприньку в баньке. Но то нужно за полночь, чтоб никто не увидел лохматого. А после полуночи, как всем известно, время Банного. Тревожить его не стоит, в баню путь закрыт.

Куприньке с Банным встречаться ни к чему, неизвестно, чем такая встреча кончится, но уж точно ничем хорошим. Так что мыть приходится Куприньку в железном круглом тазу прямо посреди кухни. Бабушка Зоя нагрела воды на печи, опробовала ее локтем и чутка разбавила холодным. С боем усадила Куприньку в таз: малец начал постанывать, едва ненавистный ему предмет гулко стукнулся об пол.

– Да будет тебе, – проворчала бабушка Зоя то ли на Куприньку, то ли на таз, осмелившийся гроыхнуть. В тазу Купринька расстонался-разохался еще громче. Пришлось его успокаивать. – На вот! –

буркнула бабушка Зоя и сунула лимонную карамельку Куприньке в рот: это должно успокоить его на какое-то время.

Купринька и впрямь утихомирился, принялся перегонять карамельку из одной щеки в другую, лишь изредка ойкая, так как вода в тазу все же была невыносимо горяча для его чувствительного тельца. Бабушка Зоя сняла со стены мочалку – второй после таза ненавистный Куприньке предмет. Грубая, хоть и из самого лучшего липового лыка, драла она и без того покрасневшую кожу так, словно не мытье то было, а казнь.

Бабушка Зоя окунула мочалку в таз. Купринька невольно отодвинулся от кудлатой обидчицы.

– Ох, а мыло-то позабыла, – всплеснула руками, а заодно и мокрой мочалкой, бабушка Зоя. И полезла за мылом под скамью. Там, в коробке, хранилось несколько брусочков настоящего хозяйственного мыла. Есть сейчас такое, на котором пишут «хозяйственное», а на деле в хозяйстве такое мыло никак не пригодно. Состав не тот. Шампуни и прочую лабуду бабушка Зоя не признавала ни для себя, ни для Куприньки. Вот, скажите на милость, поможет ли шампунь справиться с грибком, ну тем самым, что меж пальцев и в ногтях? Нет. А хозяйственное мыло – вмиг! То-то же! Бабушка Зоя напенила, уж как смогла, мочалку мылом и ну тереть Куприньку во всех местах.

В глаза попало? Не реви! Сам виноват, что глаз не закрывал.

– Волосья-то, волосья дай хоть чуть-чуть промыть, чучело ты мое лохматоё. – Не любил Купринька, когда ему в голову залезают. Ох, как не любил. Тут уж он и головой вертел, брызги во все стороны, и рычал. А разок даже укусил бабушку Зою. Хорошо, что следов наутро не осталось, а то ж в видное место – прям за кисть. Так что бабушка Зоя принималась мыть Куприньке голову, но всякий раз отступалась. Ну его, пускай лохматый и невымытый ходит. Морду чуть натерли, и то ладно. На сей раз мыла Куприньку долго, а то он уже два дня, что опалу бабушке устроил, невымытый сидел. Нужно всю пыль шкафную из него повывести-повымыть. Будет знать, как запирается надолго. Купринька постанывал, дергался, едва его касалась обидчица-мочалка, но терпел унижения мытьем. Видать, понимал, что провинился. Нес, так сказать, свой мыльный крест безропотно. И очень уж громко выдохнул Купринька, когда достала его бабушка Зоя из таза да накрыла вафельным полотенцем и сказала заветные, освобождающие

слова: – С легким паром, с мокрым задом! – Затем принялась растирать Купринькино тело полотенцем. Терла-терла, а потом глядь – а Куприньки-то и нет. Вот только что стоял под полотенцем и исчез. Мокрые следы привели на середину комнаты и оборвались.

– Купринюшка, ты где, милой? – Тишина в ответ. Шкаф затворен, а заглядывать в него боязно. Он теперь поделен на две половины: с бабы-Зоинной одеждой и Купринькину. Во вторую соваться не следует. А был ли Купринька? С ним ли ужинала бабушка Зоя? Его ли мыла?

Глава 5

– Ильинична! По землянику идешь? – Ильинична – это бабушка Зоя. Приятно полностью познакомиться. Зоя Ильинична осторожно отодвинула шторку, тюль про всякий случай трогать не стала. Ну, мало ли. Под окном торчали, что две бледные поганки в цветастых платочках, упомянутая здесь некогда Марья (она по батюшке, значит, Петровна) и подружайка ее – Анфиска.

Смотрелась эта парочка презанятно. Марья такая крепкая, но не толстая, нет, вся округленькая, про таких говорят: есть за что подержаться, невысокая, темнобровая, круглолицая и круглоносая (нос у нее, конечно, совершенно выдающийся). И какого-то неопределенного возраста: вот, то ли сорок пять, то ли все семьдесят, так сразу и не поймешь. Бывают же такие женщины! И Анфиска – длинная, тощая, без намеков на округлости. Больше – квадратности. Глазки маленькие, щурые. Брови тонкие, выщипанные. На голове – копна рыжих от хны кудрявых волос, столь непослушных, что даже из-под платка во все стороны лезут. Будто норовят от Анфиски сбежать. Анфиска – ровесница и Зое Ильиничне, и Марье, но отчего-то по отчеству ее никто никогда не звал. И даже Анфисой не звал. Только так, словно плюясь, – Анфиска. И даже Анфискин муж (а он у нее, как ни странно, имеется, терпит эту занозу) жену ни разу ласковым словом не подозвал – Анфиска, и все тут. А баба, вроде, хорошая, работающая, не страшная, опять же. Только больно уж вредная. И сплетни страсть как любит. А коли сплетен нет, так она сама их выдумает, сама же разнесет, сама же потом выспрашивать подробности у других станет. Не любила бабушка Зоя Анфиску. А Марью опасалась. Марья – баба умная так-то. Мало ли чего.

– Что за тюлем прячасьси? Идешь али нет? Семеныч сказал, что назрела уже. На нашей старой поляне.

Земляника – это хорошо. Это любо-дорого. Это сладко. Немножко бы набрать неплохо было: Куприньке варенья сварить и чуть-чуть так поесть. Добро. Да вот как же его оставить-то одного? Сегодня уже бабушка Зоя за хлебом ходила, а у нее правило: больше одного раза в день Куприньку без присмотра не оставлять. Но земляника – хорошо.

Сладко. Эх, была не была. Бабушка Зоя приоткрыла форточку и шепнула кумушкам:

– Иду-иду, сейчас. – Шепотом – это чтобы Купринька не расслышал-не прознал. А то вдруг в лес за ними увяжется, Марью с Анфиской перепугает, а то и вовсе заблудится. Купринька для леса непредназначенный, там и без него своих лохматышей хватает. Там всякие лешие, еловые батушки, канавные водяные, кикиморы болотные, русалки озерные. Куда к ним еще и Куприньку? И зачем? Он ведь домашний весь. На цыпочках пробралась бабушка Зоя на кухню, стащила с печки лукошко, потом подумала и взяла еще одно – поменьше, а первое обратно засунула.

Лучше быстренько набрать маленькое и домой бежать.

Выгребла из-за двери палку – единственную ее опору в этом мире. Опору в прямом своем значении: без палки и до леса не дойти бабушке Зое. Переодеваться не стала, в домашнем тоже сойдет за земляникой наклоняться. А ежели и сверкнет разок исподним из-под драного халата, так и бог с ним. Кому нынче бабкины застиранные панталоны интересны? Вот и Зоя Ильинична решила, что никому.

Тихонечко-легонечко за уголок потянула платок, не менее цветастый, чем у Марьи с Анфиской, наскоро его повязала, наскоро же сбрызнулась от комаров пшикалкой и ме-е-едленно приоткрыла дверь.

Скользнула в образовавшуюся щель, а потом с минуту закрывала дверь обратно. Лишь бы не хлопнула.

– Ну ты, Ильинична, этот... как его там? Нинзия! – хохотнула Марья, когда бабушка Зоя выросла между нею и Анфиской.

– Кто-кто? – не поняла Зоя Ильинична.

– Нинзия! Это персонаж такой, – пояснила Марья. – Двигается бесшумно. Шустрый такой. Это меня внучок научил. Я по утрам встану, пирогов напеку, его не разбудив, а он потом просыпается и говорит: «Ну ты, баушка, и Нинзия». – Марья сощурила глаза и зачем-то добавила: – Вот, были бы у тебя внуки, они бы тебя еще и не такому бы научили. А так хоть я расскажу.

По больному прошлась. Фу! Хоть и не ходи теперь по землянику с этой растреклятой Марьей! Но что уж теперь, теперь уж вышла, обратно не воротись. От дому едва отошли, Анфиска принялась за свое за любимое – за сплетни. Правда, баба Зоя не сразу то смекнула.

– Ты, Ильинична, в последнее время какая-то странная стала, – говорит Анфиска. Сама щурится подозрительно так.

– Чего это? – возмутилась бабушка Зоя.

– Затворничаешь все. В гости не зовешь, и сама по гостям не ходишь. – Анфиска замолчала, но и Зоя Ильинична отвечать не стала. Тогда Анфиска, не сдержавшись, прибавила с усмешечкой: – Словно жениха себе завела и теперь с ним прячешься, шторами вон закрываешься круглы сутки.

Бабушка Зоя пожала плечами:

– А мож, и завела. А мож, и прячу. Тебе-то какое дело? – Уж пусть лучше Анфиска по деревне трезвонит про любовные похождения бабушки Зои (все равно в них никто не поверит), чем будет еще какие догадки строить. Кто ж ее знает, возьмет и случайно до правды докопается.

– Никакой у нее не любовник, – вставила Марья. – У нее там житель. – Бабушка Зоя вздрогнула, по телу пробежал разряд, руки свело, пальцы вжались в ручку лукошка, а по спине потекла крупная капля пота.

– Какой такой житель? – Анфиска аж уши приоткрыла, платок за них завела. Видать, чтоб лучше слышно было. Ох, стара уже, стара стала Анфиска. И уши уже не те, и сплетни не те. Угомонилась бы под старость-то лет, так нет же, все лезет и лезет, куда не надо. Вот вредная все-таки баба!

– А Ильинична не говорит, – ухмыльнулась Марья. – Да, Ильинична? На крыс ссылается, но не крысы то. Уж я крысиную возню от любой другой отличу. У самой не раз заводились в хлеву. А у Ильиничны вовсе не крысы, нет.

Так вот оно что! Вот зачем они бабушку Зою с собой зазвали: в деревне, видать, сплетен не осталось, за старые принялись. Ух, кошелки старые! Так. Нужно думать быстро, отвечать быстро. «Быстро» – это вообще применимое к старости слово?

Была не была, в домовых многие верят! Чего тут бояться?

– У вас тоже такие жители имеются, – осторожно ответила Зоя Ильинична. – У каждого в доме. – Ну, давайте же! Давайте, шевелите мозгами, догадывайтесь, на что намекается.

– Ты про домовых, че ли? – нахмурившись, спросила Анфиска. – Сообразили, наконец! Доперли.

– Ну, – неопределенно ответила бабушка Зоя. Нужно сделать так, словно это они сами придумали про домового, что это не она им сообщила.

Марья решительно тряхнула головой:

– Уж нет! У меня никаких домовых не водится. Это все пережитки прошлого, ваши эти домовые, банные. Еще скажите, что существуют привороты, сглазы, а чтобы ячмень вылечить, надобно в глаз плюнуть.

– А как еще? – возмутилась Анфиска. – Кроме плевка, и не помогает ничего!

– Ну и дура же ты, – глядя в глаза Анфиске, сказала Марья.

– А в лешего ты тоже не веришь? – уточнила бабушка Зоя.

– Не-а, – протянула Марья. – Не верю.

– Что ж, надеюсь тогда, что он тебя за такие слова в чашу не утащит, – усмехнулась бабушка Зоя и нырнула за можжевельновый куст. Старушки как раз к лесу подошли. От него до деревни по грейдированной дороге всего-ничего – метров пятьсот. До черничных кустов и клюквенных кочек на болотах, конечно, еще добраться нужно, а вот земляничные поляны прям тут, прям сразу при входе, далеко ходить не надо. Бабушка Зоя нарочно ушла вбок, подальше от земляничной поляны, чтобы не слушать трескотню Марьи и Анфиски. Ну их, сплетниц! Вдруг еще чего повыведать захотят, а потом опять по деревне трезвонить начнут, что у Зои Ильиничны крыша поехала. Тут вон тоже земляника есть. Не так густо, но маленькое бабушки Зои лукошко набрать хватит.

Марье баб Зою не понять. Она ничегошеньки не знает об одиночестве. Муж, два ребенка – сын и дочь, а за ними – четверо внуков и еще один на подходе. И, конечно, дети уехали из родного дома, даже из родной деревни, навещают не так часто, но зато внуков подкидывают стабильно. Марье вообще повезло. С Генкой своим еще со школы начала встречаться, и все так ладно, и все так крепко. Закончили училища, Марья – бухгалтерское, Генка – на механика, вернулись в деревню (где родился, там и пригодился – не зря говорят), отстроили дом, не без помощи родителей, разумеется. Свадьбу сыграли. Через девять месяцев у них уже Валерка появился. Еще через три года – Алечка, дочка ненаглядная, кудрявая, румянощекая, кареглазая. Так когда это Марья была одна? Может, когда дети выросли, по университетам разъехались, а Генка на рыбалку на два дня

отправился? Или когда сама Марья в санаторий ездила почки подлечить? Или когда в детстве родители ее в лес ушли, а Марью за домом оставили присмотреть? Нет, не знает Марья, что такое одиночество. Не ведает. Так что, ровно как сытый голодного, так она Зою Ильиничну не понимает.

Анфиска – та, конечно, бездетная. Можно сказать, не повезло, но на самом же деле она и не хотела детей. Тут уж точно не известно: это у нее не получилось, и теперь она всем рассказывает, что ей детей и не надо вовсе, и без них проживет, или же действительно, как там модно нынче звать таких – чайлдфри. Что совершенно точно – к детям Анфиска равнодушна. Впрочем, многие не любят чужих детей, так что так себе доказательство. Но у Анфиски муж есть. Всегда при ней, всегда рядом. Анфиску любит до невозможности, терпит ее трескотню и беспокойный нрав. Ходили слухи, что муж от Анфиски не раз порывался уйти, что он-то детей хотел и требовал их от жены, но не ушел же, остался. Так что Анфиске тоже неведомо, что такое настоящее одиночество. Вот и придираются к Зое Ильиничне, вот и лезут надо и не надо. Выпытывают все что-то, вынюхивают, надумывают. И когда уже угомонятся?

Купринька слышал. Купринька все-все слышал: и как бабушка Зоя шторку приоткрывала, и как лукошками в Запечье швырялась, и как платок тянула, и как в Задверье ушла. Уши у Куприньки большие. Слух хороший, прям прекрасный, прям ни у одного человека слуха такого нет. Во как. Второе Пропадание бабушки за день – это ж надо, это ж праздник какой-то. Купринькин шкаф – Крепость надежная. И мягкая, если хорошенько тряпки взбить. Но больно уж темная, словно Поддомье. Только что не такая сырая и без крыс с мокрицами. И сидит в Крепости Купринька целыми днями, брошенный, изредка на еду приглашаемый, но как выйдет, так в Темноту, которую бабушка Зоя по всему Царству устраивает. Купринька как-то раз видел Солнце Желтое, Солнце Яркое, и до того оно полюбилось Куприньке, что даже простил ему, что глаза зажмурило больно. От Солнца по телу разбегается тепло, даже если оно тебя вскользь погладило. Лоб нагревается, принимая энергию, а потом раздает ее всему остальному Куприньке. Хо-ро-шо. Но бабушка Зоя говорит, что Куприньке на свет нельзя, что он – ночной житель, что его Темнота любит. А Темнота вечная и страшная – такая и любить-то не умеет. И едва Купринька покажет нос

на свет, как принимается бабушка Зоя топтать ногами угрожающе, или плакать невыносимо для ушей, или окнами хлопать – прогонять Солнце, впускать Темноту. Так что ждет Купринька каждый раз бабушкиного ухода, вылезает из Темницы и идет изучать Царство.

Идет на двух ногах. Он умеет, только при бабушке Зое не показывает, потому что той очень уж нравится, как Купринька ползком корячится, очень уж она хорошо смеется над этим, зачем расстраивать старушку. Пусть и не знает, что может Купринька как нужно передвигаться, как человек. Сейчас он миновал Подкроватье. Подкроватье пыльное. В него Купринька разок пробрался, начихал там на всех, кого не видел, и больше туда ни ногой. Делать в Подкроватье нечего. Как и в Накроватье: там обычно бабушка Зоя обитает. Скука в Накроватье вечная. Скука и зевота с подушками. Вышел Купринька да на Комнатные Просторы. Втянул воздух шумно носом. Эх, хорошо тут, вольготно. Деревянные доски к стене убегают, скрипят под ногами, перешептываются. Повалиться бы на эти доски, зарыться в них носом и вдыхать-вдыхать жадно. Перекатиться по ним с боку на бок, сорвать листок с алоэ, заткнуть за ухо и лечь на спину, уставившись в потолок. А по потолку голубому беленькие цветочки бегут, в узоры складываются: вон этот похож на корабль, а этот на зайца. Хорошо-то как! На просторах живет диван, на него можно залезать только по особым случаям, но пока не очень понятно, какие случаи особые, а какие – нет.

Вот, скажем, Пропадание можно считать случаем особым, потому как, если в него забраться на диван, никто не заругается. Телевизер тоже тут, перед диваном, покрывалом накрытый.

Телевизер под запретом. А покрывалом накроешь, так он и вовсе в спячку впадает, лучше не будить. Зеркало сбоку от дивана и Телевизера.

Купринька подполз к нему и приподнялся. Там сидел кто-то смешной, вихрастый, тоже с большими ушами. На бабушку Зою вроде похож, а вроде совсем не такой. Руки-ноги-голова, но все же бабушка Зоя как-то иначе выглядит, будто ее из другого теста лепили. Купринька показал ушастому язык. Тот в ответ свой высунул. Это у них приветствие такое. Купринька выставил ладонь, вихрастый к ней свою приставил. Холодная. Купринька свою ладонь убрал, и Вихрастый с ним одновременно – такое у них взаимопонимание.

Купринька сказал:

– Живе-о? – Что означает: «Как ты живешь?» Вихрастый в ответ лишь рот разинул и ни звука не издал. Он не умеет говорить, даже немного, как Купринька. Эх, жаль. Купринька помахал Вихрастому рукой: пока, мол. Тот тут же помахал в ответ. Руки у него, конечно, грязные. Видать, нет у него бабушки Зои такой, что намочит его со Щипалкой-для-глаз и Дёркой в тазу. Хотя Куприньке казалось, что пару раз он видел, как в Зеркале мелькал кто-то, очень на бабушку похожий. Купринька отошел от Зеркала, на всякий случай оглянулся: Вихрастый уже исчез. Тоже наверняка по своему царству гуляет, пока кого-то, похожего на бабушку, рядом нет. Прошел Купринька на кухню, заглянул в Запечье. Там живут всякие Утвари.

Зимой в Запечье хорошо, горячо, сонно, а летом немного бардачно-сумбурно: то чугунок свалится, то ухват в бок ткнет, то тряпьем завалит. Летом в Запечье лучше не соваться. Стажил конфету со стола и мелкими-мелкими шажочками приблизился к Задверью. Ох, как же и манит оно Куприньку своей прохладой, звуками, перестуками. Задверье мычит, рычит, блеет, кудахчет, свистит, завывает. Одним словом, зовет. Но страшно. Ой, и страшно. А вдруг пропадет-сгинет несчастный Купринька, ведь бабушка Зоя говорит, что непременно так оно и будет. Говорит, что жив Купринька только внутри Царства, а в Задверье раз – и лопнет. Разлетится на множество крошечных Купринек, а те потом еще разок полопаются и так до тех пор, пока не превратятся в Ничто. Но ведь сама бабушка Зоя не пропадает навечно, не распадается на множество крохотных старушек. Хотя она говорит, что из другого материала сделанная, она говорит: «Я – человек, а ты, Купринька, нет». Потому и страшно. Вдруг Задверье только для человеков. Но Купринька все же рискнул: приоткрыл немножечко Задверье. Не обязательно же в него шагать – можно просто в щелочку подглядеть, что там творится. Вот как он из Крепости на Царство в Солнце иногда смотрит, так и тут. И ничего не случится. Скрипнуло Задверье. Не стон ли это? Не предупреждение, что осталось жить любопытному Куприньке последние минуточки?

Оставил тогда Купринька себе масенькую щелочку, в зрачок шириной, и глядит. И ничего интересного не видит. Видит стену, как у них в Царстве, видит сундук, как у них в Царстве, только побольше. Пакеты какие-то, веники. И все. И это опасное Задверье? Что же тут

Куприньке угрожает? Неужто веник? Раскрыл Купринька Задверье пошире. Стена разрослась, веников и пакетов поприбавилось. Сундук остался при прежних размерах.

Скука какая, а не Задверье! Еще и мрак. Скука и мрак. Ха, тоже мне! Смотрит Купринька, а за Задверьем еще одно Задверье.

Может, оно поинтереснее будет? Пробрался Купринька к нему поближе, приоткрыл, а там диво дивное, диво зеленое. Во все стороны топорщится, пятнами разноцветными покрывается, там ветры дуют, диво дивное колышут. Солнце растекается. И где-то жужжит.

Сел Купринька перед Задверьем, голову на ладони положил и стал наблюдать. Вот бабочки. Почти как бабушки, но летают и умирают спустя день жизни.

Бабушка Зоя как-то принесла Куприньке одну такую. Бабочка смиренно лежала на ладошке старушки, одно крылышко у нее откололось. Бабушка Зоя говорит, что все потому, что крылья бабочек хрупкие, хрупче чашек и тарелок.

Бабочка была красивая и мертвая. Все красивое быстро умирает. Хорошо, что Купринька страшенький, говорила бабушка Зоя, будет, значит, долго жить. Да и сама баба Зоя такая жуткая, что вообще никогда не умрет, пожалуй.

А вот всякие жуки. Их так бабушка Зоя и зовет – «жуки всякие». Видать, они часто толпой ползают.

Купринька поднял голову вверх: там небо (не в цветочек), на небе Бог. С Богом Купринька не знаком, но бабушка Зоя говорит, что Бога нужно бояться. У Куприньки пока не очень-то бояться получается. Как бояться того, кого не знаешь? Бог разбросал по небу куски ваты, видать, поранился. Или уши чистит, чтобы услышать бабушки-Зоины молитвы. А как вообще жить на небе, если там нет ни Телевизера, ни Утварей, ни чего? Бедный-бедный Бог, живет в Пустоте. Это еще хуже Купринькиного шкафа. Долго-долго любовался Купринька Задверьем. Мог бы и еще дольше, да услышал бабушки Зои голос.

Вскочил Купринька, захлопнул Дверь, проскочил через первое Задверье, вернулся в Царство. Там опустился на колени и пополз к шкафу. Пополз так, на всякий случай: вдруг бабушка Зоя быстро до дома дойдет, пусть за Выход ругается, но так и не узнает, что Купринька научился ходить как человек. Ведь человеком Куприньке быть не положено.

Глава 6

Что считать датой рождения Куприньки? Тот ли день, что одним предложением отмечен в «дневнике» Зои Ильиничны, или все же появился Купринька чуть раньше? Пожалуй, это так и останется загадкой. Да так ли и важен день рождения? Когда есть другой – день спасения. Анне было девятнадцать, когда ее проткнули багром и вытащили из пруда. Вскрытие показало, что смерть девушки наступила в результате попадания воды в легкие. Наглotalась, одним словом. Так что багор тут ни при чем. Проткнули случайно. Обнаружил уже посиневшую и вспучившуюся Анну ее же ухажер – Семен Кудрявцев, тридцати лет отроду. Он в смерти Анны тоже не повинен. Как минимум следствие ничего на него не нашло. А уж моральные стороны их отношений разбирать будут разве что на Страшном суде: там решат окончательно, виноват Семен или нет, а пока его домой отпустили, где он погоревал денек, так, для виду, а на следующий уже приударил за Лидкой из соседней деревни. Знаете ли, сложно продолжать любить синюю и холодную Анну, которую вот-вот похоронят в закрытом гробу, так как развороченное багром и вскрытиями тело с распухшим фиолетовым лицом не очень-то хочется нести до кладбища всей деревне напоказ. У деревни и без того пересудов про Анну хватает: отчего она в воду бросилась, сама или все же помог кто (но не Семен, уж точно не Семен), а ведь тихая была девка, спокойная.

– Ага, спокойная! – скажет вдруг кто-то. – В тихом омуте, знаете ли!

– Ты это о чем? – спросит другой.

– Да она то с одним, то с другим вечерами обжималась. Не только с Семеном. А уж скольких на сеновал переводила!

– Типун тебе на язык! – воскликнут в ответ.

– О покойниках плохо не говорят, – заметит какой-нибудь мужчина в попытке прекратить бабские сплетни. А бабы и притихнут, но ненадолго. Потом вновь разойдутся и всю Аннину жизнь вспомнят, уж правдой или нет, не нам судить. Вспомнят, что в детстве то была хорошая и примерная девочка, носила косички да белый передничек,

слушалась маму, помогала по хозяйству. Все еще засматривались на нее, мол, добрая невестка выйдет. Вспомнят, что испортилась Анна, как только в город уехала. В городах же хорошему не научат. Вернулась Анна в родную деревню совершенно другою: гулящей, курящей, злой и грубой.

– А что вернулась-то? – А бог ее знает. Опозорилась, наверное. – Бедная мать. – Бедная-то бедная, но за дочерью следить нужно. Та у нее под носом же гуляла! Выпороть бы разок хорошенько, глядишь, и была бы сейчас жива. – Опять же, неизвестно, помогла бы тут порка или нет, но ситуация уже сложилась – Анна мертва. Вместе с ней умирала, захлебываясь водой, и надежда на то, что главная Аннина тайна идет сейчас на дно все того же пруда. Там на дне и останется.

Тайна страшная и крикливая: нагуляла Анна где-то ребенка. Нет-нет, эти пересуды про кучу мужиков на сеновале – всего лишь сплетни. Впрочем, по правде, кто отец ребенка, Анна не знала, но вариантов было всего два: или Семен, или бывший ухажер из города. Ни тому, ни другому говорить не стала. И вообще никому. Отыскала множество способов абортиться дома, но ни один не помог. В горячей ванне сидела – только кожу обожгла. Из растений, которые якобы вызывают выкидыш, нашлась только пижма. Отвар из нее был горький и одновременно безвкусный. И абсолютно бесполезный. Вызвал только рвоту. Пила соду, пыталась впрыснуть в себя соду – без толку. Много прыгала – получила лишь головокружение. Прокалывать что-то там внутри спицей или (а истории про аборты в СССР и такое предлагали) проращивать внутри себя лук не решилась – уж больно противно. Тошнило от одной только мысли о таких экспериментах над собственным телом. Впрочем, скрывать беременность оказалось не так и сложно. Кто-то там, наверху, сначала наказал несчастную Анну, а затем смилостивился и сделал так, что живот у нее не рос аж до седьмого месяца. Сама немного пополнела, налилась в щеках и грудях – с кем не бывает? Ближе к седьмому месяцу родные Анны уже привыкли к тому, что та начала носить мешковатые платья и рубахи: «стесняюсь того, что располнела» вполне себе годное объяснение. Анна надеялась, что младенец умрет в родах, при этом боясь за себя: как бы не уйти за ним следом, ведь рожать нужно самостоятельно.

Про это девушка тоже погуглила. Ничего сложного вроде бы.

Рожать решила на заброшенной ферме, подальше от деревни и людей, лишь бы успеть добежать с началом схваток. «Вдруг не пойму, что это уже они, а не живот прихватило?»

Анна отнесла на ферму матрас, чтобы ребенок вынырнул на него. Потом задумалась: не все ли равно, куда из нее выпадет ребенок, если она уверена, что он родится мертвым? Но матрас все же оставила. Не тащить же его теперь обратно. Приготовила два ведра воды, чтобы смыть с себя кровь, тряпки и полотенца – для этой же цели, ножницы, чтобы перерезать пуповину. Хотела устроить себе ванну, пишут, что в воду рожать легче, вода расслабляет при схватках, но не придумала, как на старую ферму эту самую ванну притаранить. Что ж, обойдется и без ванны, и без расслабления справится. Последние приготовления: бутылка питьевой воды да пара яблок. Пишут, что после родов часто страсть как есть хочется. И плед. Потому как остальным, тем, которым есть не хотелось, нужно было сразу после родов спать от изнеможения. Схватки Анна распознала сразу. Поначалу терпимые. Прямо за завтраком начались. Выронила от неожиданности чашку, выдержала гневный отцовский взгляд, помогла матери вытереть со стола. С пола уже не смогла.

Выбежала во двор, прокричав: «Живот скрутило». Сама направилась к ферме. По дороге пару раз еще крутануло. И воды отошли. Хорошо, что не дома, иначе было бы не объясниться. Оросила водами своими колхозное поле. Да нарастет пшеница! Недолго ей осталось маяться. Скоро, скоро уж избавится она от своего бремени, станет свободной и легкой, вновь будет гулять и танцевать. Немного осталось. Боли от схваток были терпимыми, а между ними так и вовсе ничего. Врут это все про роды, что больно и сложно. Врут-выдумывают. Через три часа боль стала невыносимой, схватки частыми. Анна ходила по старой ферме взад-вперед, не находя себе места, и выла-выла-выла от боли. Вылила на себя ведро воды, пытаюсь остудить эту боль – без толку. Хватала ножницы, в болезненном безумстве мечтая вырезать младенца из своего нутра. Но передумывала. Все эти женщины, что рожали дома, писали, что это чистая эйфория, спокойствие, наслаждение процессом, ни с чем не сравнимые ощущения.

У, змеи! Наврали! Чтобы Анна сейчас мучилась, наврали! Они писали: «Лягте, расслабьтесь, почувствуйте, как ваш ребенок идет в

этот мир по вашим путям, станьте с ним одним целым». Анна же чувствовала лишь то, как косточки ее дробились на множество осколков, а осколки эти врезались в Аннин низ и рвали ее на части. Мозг требовал: «Тужься!» Анна орала: «Не буду!» Спустя несколько часов мучений на окровавленный матрас вывалился сморщенный младенец и своим криком оповестил, нет, не мир о своем появлении (фу, банальность какая!), а Анну о том, что надежды ее на мертворождение рухнули: «Уа-а-а!» Несколько часов провела Анна в каком-то коматозе, не зная, отрезала пуповину или нет, а может, просто разгрызла зубами. Завязала ли? Красивый ли будет пупок у ребенка?

Господи, какой пупок! У какого ребенка! Об этом ли нужно думать? Родила ли послед? Нужно обязательно его из себя вытужить, чтобы не умереть потом.

Умереть. Какая теперь разница! Очнувшись на матрасе, окровавленная и изнеможенная Анна не услышала ни звука. Ни тебе детского плача, ни сопения, ни этих упоительных для большинства матерей чавкающих звуков. Умер-таки?

Тихонько подползла Анна к грязному голому тельцу, ткнула в младенца пальцем – дышит. Крепко спит. Живучий какой. С удивлением отметила, что у нее мальчик.

Анна кинула на него тряпицу, сама же поползла к ведру – умыться. Отмыть с себя грязь, кровь, боль, стыд. Не получилось. Отлежав так сутки, из которых несколько часов пришлось слушать рыдания сына (стойте же! Какого к черту сына? Остановитесь!), Анна наконец поднялась, накинула на себя простыню, подхватила ребенка и побрела в сторону деревни. Ох, позор-то какой. И не скрыть. На полпути к деревне, когда младенец вновь раскричался режуще, передумала, развернулась и отправилась к свалке. Эта разросшаяся за деревней помойная яма в километр длиной и чуть меньше в ширину давно не давала местным покоя: вонь адская. Мусорные баки по деревне не ставили, так что приходилось всякий раз копить грязь в мешках, а потом относить к яме, закрывая нос платком, чтобы хоть немного можно было дышать. Не чувствуя смрада, Анна приплелась прямо к краю свалки, упала перед ямой на колени, словно умоляя принять жертву в свое чрево, а потом бросила туда младенца.

«Позвольте! – скажете вы. – А как же материнские чувства? Нельзя же так свое дитя, пусть и не законное, да и в мусор!» О, вы бесконечно правы: в мусор нельзя, но вот относительно материнских чувств можно и поспорить.

Дело в том, что не каждая женщина испытывает это всепоглощающее чувство любви к своему новорожденному. Для кого-то все эти истории про любовь к ребенку, пока тот еще барахтается где-то там, во чреве, не более чем сказки. Прикладывание к груди, заботы о чистом тельце, о подстриженных ногтях, о зацелованных щечках – это все для тех, кто ждет, кто жаждет своего ребенка.

Анна не ждала. Анна не хотела. На нее не нахлынуло. Избави Господь меня от чувств моих, от любви материнской и от ребенка. Аминь. Утопив ребенка в мусоре, бросилась сама в пруд. Кровавое платье отмыть. Кровавые ноги очистить. Кровавую душу загубить.

Погрузилась девица в воду, словно дитя в чрево матери. То не воды пруда, то воды околоплодные. Стала Анна сама плодом, глаза закрыла, колени к подбородку прижала – эмбрионится. Руками машет, пуповину ищет, пуповину с Матерью-землей. А пуповины и нет, оборвана. Не боится Анна: она в тепле, она в животе у матери. Она не умирает, а возрождается. И никто не увидит смерти Анны, никто не заметит и ее возрождения. Ее обнаружит лишь багор один, проткнет пустой Аннин живот, словно в укор: опорожнилась, пустобрюхая? Зато увидит баб Зоя, как ползет кровавая Анна к краю ада мусорного, как кидает туда живую душу, как молется за смерть ее и отползает. И прогонит баб Зоя тетку костлявую с косой, что Смертью зовется, от мусорной ямы, схватит младенца, прижмет его к груди, стоя по пояс в отбросах, обмотает крепко платком, снятым с седой головы, понесет скорее в дом, закинет в шкаф и будет дышать громко и нервно, боясь на добычу свою взглянуть. Словно вор какой.

Глава 7

Первое время Зоя Ильинична боялась подойти к шкафу, сидела на диване, прикрыв глаза, в надежде, что все это какой-то дурацкий сон, который вот-вот закончится.

Но в сон ворвалось резкое «Уа-а-а!», донесшееся из шкафа.

Бабушка Зоя вскочила, заметалась, не зная, что и предпринять: то ли ребенка достать и успокоить, то ли захлопывать нервно двери и окна, не выпуская преступный крик наружу.

А в том, что это было преступление, Зоя Ильинична не сомневалась. Она украла чужое: чужого ребенка, чужую жизнь, чужую смерть. Он ведь умереть должен был, так решила та, что на него имеет право, – мать, Анна. Должен был, да не умер, и все стараниями бабушки Зои.

И зачем, зачем она только влезла в это дело? Зачем вздумала чужую Смерть обманывать? Схватить и отнести матери. Сказать: «Извините, вы обронили». А та сама пускай решает, еще раз обронить али оставить-таки. На тот момент Зоя Ильинична не знала еще, что Анна утопла, нести уже некому. Младенец надрывался, да так, что казалось, что шкаф дребезжит, вибрирует от детских криков. Невыносимо. Распахнула бабушка Зоя дверку шкафа, схватила нервно платок с кутенком, порвалась было затрясти его гневно, да увидела черные-черные глаза, зрачок один, почти безбелковые. Глазки-смородинки. Было что-то в этих глазах магически притягательное: и любовь, и просьба, и непонимание, и доверие, и целый мир. Губки пухлые зашамкали сладко, а затем опять раскричались. И вновь заметалась бабушка Зоя, суетно, но на сей раз со знанием, что делать ей нужно: кормить, кормить, кормить новопоселенца. А кормить-то и нечем. Бросила младенца на кровать, а сама в хлев, к корове, за парным молоком. Выдоила немного, в ковш перелила и задумалась: кипятить или не кипятить. Младенец заливался так громко, что решение нашлось быстро – не кипятить.

Отыскала бабушка Зоя в аптечке новехонькую пипетку, сполоснула ее наскоро в ведре, набрала молока и ребенку в рот

впрыснула. Тот закашлялся, словно подавился, но сразу понял, что нужно делать. Несколько пипеток в себя принял, успокоился.

Бабушка Зоя ковш с молоком отставила, на краешек кровати присела и любуется своим дитем. В том, что это ее дите, сомнений больше не было. Как говорится, сам Бог послал, а она уж выходит. Только младенец отчего-то посинел вдруг, словно подавился. И дыхание будто приостановилось.

Схватила бабушка Зоя ребенка, к груди прижала с силою:

– Что ты? Что ты, матушко? Не умираешь ли у меня? – А младенец взял да и выблевал часть молока прям на баб-Зоино плечо. Отдал, так сказать, лишнее. Срыгнул – на языке матерей и педиатров так это называется. По несколько раз в день приходилось кормить младенца с пипетки. Затем носить стоймя, чтобы не захлебнулся. Затем обратно в шкаф убирать, чтобы не увидел никто. По ночам младенец не давал бабушке Зое спать. От коровьего молока крутило у него живот, да так, что орал он на всю деревню. Тогда-то и начала Зоя Ильинична захлопывать наглухо ставни, запирается чуть вечер, и принималась носить ребенка туда-сюда, туда-сюда, покуда тот не успокоится, а затем засыпала, уложив младенца себе на живот – только так и удавалось хоть немного соснуть. Вот уж не думала, что под старость лет бессонные ночи настанут. По молодости миновало, а тут нате! Первые месяца три были для бабушки Зои особенно мучительными, а потом вроде ничего, привычно все стало. Да и младенец рос, молоко принимал уже лучше, все меньше срыгивал, а после и вовсе перестал. Днем все больше спал, беспокоил мало. А если и начинал капризничать, так бабушка Зоя ему губы водочкой смазывала – тут же засыпал. Боялась Зоя Ильинична, что, когда ребенок начнет ползать да ходить, удержать его в шкафу будет сложно. А то, что он днем должен в шкафу сидеть, это бабушка Зоя решила твердо – так надежнее, так спокойнее. Плохо, что ли, свой угол иметь? Пускай и темный. Вот подрастет малец, она ему фонарик выдаст, чтоб не так скучно было. Но ни в полгода, ни позже, ребенок не пополз. Некуда ему было ползать, незачем. Это потом уже, больше года спустя, сама бабушка Зоя забила тревогу: уж не инвалид ли? И стала силою вытаскивать Куприньку (к тому моменту он уже обрел имя) в комнату, кидать на пол, волочить за собою, как бы демонстрируя, что надобно двигаться, уж как получится, уж чем получится, но надо.

Встать на четвереньки и показать, как правильно ползать, бабушка Зоя не могла – старость не позволяет так выкручиваться. Так что ползала уж, как могла, выставив негнущиеся ноги и отклячив зад.

– Смотри! Смотри же, Купринька! Поначалу так можно передвигаться. От труда прибывает, а от пустых слов этот, как его, ущерб^[6].

Купринька же валялся колбаской по полу и смеялся громко, залиvisto, раздражая тем самым бабушку Зою. Она тут ради него буквой Зю расклячивается, а ему все хиханьки да хаханьки!

Схватила тогда бабушка Зоя полотенце и ударила им прямо по тому месту, с которого вот только-только откатился Купринька. Ударила и сама испугалась. А Купринька, кажись, и не понял: расхохотался пуще прежнего.

Сделала бабушка Зоя вид, что так она и хотела – полотенцем да по полу, не по ребенку. Для себя ли сделала, для Куприньки ли – не разберешь уже. А ползать он все же выучился. Несколько месяцев спустя, но выучился. По-бабзоиному, на прямых ногах, отклячив зад, несуразно, хромо, но все же двигался. А после и ходить смог. Только баб Зое это не показывал уже. Говорить Купринька тоже не спешил. Уж билась-билась с ним баб Зоя, все без толку. Она в грудь себе пальцем тычет и говорит:

– Ба-ба. Ну, повтори же! Ба-ба. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам^[7]. – А сама думает: а, может, мамой сказаться? А то выходит, как в русской народной сказке – у всех персонажей только дед и баба имеются, ни слова про родителей. У Колобка, Мальчика-с-пальчика, Машеньки, которая к трем медведям нагрязнула, – у всех дед и баба. И у Куприньки вон тоже. Правда, только баба. Да не! Какая ж она мама? Стара больно для мамки. Пусть уж будет бабой, пусть, как есть. А потом говорят, что с бабушками детям лучше, чем с мамками-то: бабушки добрее все же. Зоя Ильинична говорит:

– Ба-ба.

А Купринька молчит. Рот открыл, на бабушку Зою глядит и ни звука не издает. Немой, что ли? Плюнула тогда бабушка Зоя на это дело. Захочет – заговорит. Не захочет – и ладно. Даже легче будет с немым-то: подрастет, плакать перестанет, орать не будет, наступит в доме тишина, можно будет не бояться соседей так, как сейчас

приходится. Лепота. Но потом Купринька начал имитировать звуки дома: то как дверь скрипнет – «Ски-и-и», то шкварки на горячей сковороде передразнит – «аш-ш-ш», то закричит в тазу – «бу-у-ульк». А затем вон и про «Утина» выдал. Заговорил, чертенок. Не немой. Жаль. Шуметь будет.

Лет до двух все умиляло Зою Ильиничну в мальчике: пухлые щеки, маленькие пальчики, смешная неуклюжесть. Баб Зоя хватала маленького Куприньку в охапку и крепко-крепко прижимала к себе. Так бы и сидела вечность, ни за что бы не отпустила. Вот только Купринька дергался, вырывался, не позволял себя обнимать. Нужно было ему куда-то ползти-перекатываться, спешить. Куда-нибудь подальше от баб-Зоиных объятий. Зоя Ильинична не сердилась, лишь махала руками: «Вот же неугомон». Конечно, уже тогда было боязно, что услышат Купринькин звонкий смех или горький плач, но невозможно было устоять перед этими глазками, так и хотелось вытащить мальчишку из шкафа на белый свет, пощекотать, помутузить слегка.

Впрочем, Купринька, как и все дети, прекрасно приспособивался к обстоятельствам, и потому весь день он спал, даже не пробуждался, чтобы водички попить или поесть, но то водке спасибо. Ночью же бодрствовал. Биологические часы – это баб Зоя в газете вычитала – настроились как надо. Настроили как надо. Так что приходил когда кто, Купринька особо и не мешал, не выползал, нужно было только лишь держать ухо востро, чтоб не проснулся вдруг мальчик, пока гости в доме, не заворочался, не закричал, тьфу-тьфу. Пробуждался Купринька к вечеру, баб Зоя как раз закрывала ставни. Часов в восемь этак. Старики нередко рано ложатся, так что ничего в том не было подозрительного.

Поначалу Купринька громко звал баб Зою, но та его быстро от пагубной привычки отучила, и мальчик стал просто скрестись о дверку шкафа, требуя еды и внимания.

Вытаскивала его баб Зоя, правда, не на свет белый, а в сумрак, целовала в обе щеки. Приговаривала:

– Кто-кто это тут у нас проснулся? Кто-кто такой маленький? Кто-кто такой хорошенький? – Купринька улыбался, вцеплялся ручонками баб Зое в волосы или хватал ее за нос.

Зоя Ильинична смеялась:

– Вот негодник! – а после тащила мальчика умываться, завтракать (коль проснулся в 8 вечера, первый прием пищи все же завтраком считается?). Мыла тогда еще не агрессивно, грубая мочалка пока еще не появилась, так что водные процедуры маленькому Куприньке очень нравились. Поначалу. После помывки бабушка протягивала ему кружку, полную ярко пахнувшей красной жижи. Этот аромат он сразу узнавал – морс мальчик любил. Купринька принимался жадно пить из кружки. Шершавые сухие губы цеплялись за колотую кромку. Морс был кислым – это от замороженной клюквы, и сладким – это от сиропа, который бабушка зачем-то добавила аж две столовые ложки. Бабушка Зоя ласково смотрела на Куприньку, трепала его по голове, словно пытаясь уложить непокорные вихры.

– Да не торопись, не торопись ты. Подавишься еще, не дай-то Бог.

А к двум годам у Куприньки начал проявляться нрав. Перед засыпанием он орал блажью. Да и не перед просыпанием – перекатывался по дому, визжал, верещал. Казалось, что и закрытые ставни такой крик не удержат. Воду при мытье расплескивал – убирай потом, баб Зоя, корячься. Морс отхлебывал, а затем зачем-то обратно в кружку сплевывал. Фу, противно. Вот тогда-то и решила баб Зоя, что надобно теперь к питомцу своему чуть поосторожнее. Любовь любовью, а воспитание прежде всего.

Чем больше рос Купринька, тем сложнее с ним было сладить. То днем вывалится из шкафа – гулять надумает, то зашебуршит в ненужный момент, вон как при Марье.

Старый водочный способ не помогал: Купринька хмелел немного, но спать не засыпал, а то и вовсе мог пуце прежнего расшуметься. Придумала тогда баба Зоя вот что: перенесла икону Божьей Матери из Красного угла на стол, что перед шкафом стоит. Поставила и говорит Куприньке:

– Вот. Богородица за тобой теперь приглядывать будет. Как только высунешься без спросу из шкафа, она тебя глазами своими и прожжет. Останутся от тебя только угольки! Понял? Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда^[8].

Купринька все понял, даже эту фразу, что баб Зоя выхватила из Библии. А вот странно: память у Зои Ильиничны если не куриная, то девичья точно – забывает много, забывается часто, а вот цитатами библейскими готова направо и налево сыпать. Порой не к месту, порой

невпопад, не с тем смыслом, что закладывался, но шпарит уверенно, будто вот сама только что придумала, сама уверовала, хочет теперь вам навязать. Испугался Купринька Богородицы, хотя с трудом верилось в то, что эта тетя с добрым и светлым лицом может его превратить в угольки. Но проверять поначалу не решался: мало ли. А потом в какой-то очередной уборке вернула бабушка Зоя икону на место, в Красный угол, решив, что урок Купринькой усвоен, что он впредь и без Богородицы на столе не станет из шкафа вылезать, когда не положено. Эх, знала бы она...

Впрочем, боялся Купринька и саму бабу Зою. Больше, чем Богородицу. Особенно когда бабушка становилась чернее тучи, волосы выбивались из-под платка, плечи поднимались коршуном. Когда та злилась за что-то на Куприньку. В таком состоянии могла она мальчика и ремнем стегануть, и чем-нибудь еще.

За свой недолгий век Куприньке уже перепадало скалкой по голове, сковородой по жопе, ивовым прутом по рукам, проводом от телевизора по ногам. А полотенце так и вовсе – враг номер один. Но стоит признать, враг самый мягкий. Уж лучше полотенцем вдоль всего тела наотмашь, чем проводом до красных, долго саднящих полос. Гнев бабу Зои проходил быстро. И вот уже плечи опускались, волосы не торчали, как у Медузы горгоны, лицо светлело, краска с него сходила, глаза вновь становились добрыми-добрыми. Орудие для битья Куприньки отбрасывалось подальше, мол, и не было его вовсе, показалось.

Бабушка Зоя расставляла широко руки: «Иди – обниму». Обниматься Купринька не хотел. Никогда. Это бабушка Зоя забыла уже про свой гнев, уже начала стыдиться этого порыва ненависти за какую-нибудь мелкую провинность (скрипнул слишком громко дверью, шмыгнул носом, когда не разрешали, чихнул – сдержаться не сумел), хотела загладить его ласкою. А в Куприньке еще сидела боль, он не мог так скоро забыть про произошедшее, про все эти удары, крики, всклокоченные волосы. Обниматься все же шел, а то вдруг и из-за этого разозлится бабушка и опять драться начнет. Лучше не нарываться.

Обнимала баб Зоя крепко-крепко, прижимала Куприньку к груди так, что тот не мог дышать (вот еще одна причина не любить эти послеударные объятия), долго не отпускала и приговаривала: «Ну-ну-

ну-ну, будет-будет-будет-будет. Не ссорься с человеком без причины»^[9]. Словно успокаивая Куприньку. Словно это он скандал спровоцировал. Словно это ему нужно держать себя в руках. Словно это не у него все тело на объятия лишь болью отзывалось. Так что старался Купринька днем при бабе Зое лишний раз из шкафа не выползать, сам не зная, чего больше избегая – побоев или объятий. Так и жили, каждый в своем углу и в собственном свете. Точнее, Купринька большую часть времени вовсе без света: фонарик баб Зоя так ему и не выдала.

Глава 8

Принесла как-то баба Зоя в дом курицу. Не новую, не старую – свою, из курятника. Курица та была диво как хороша: вся такая кругленькая, окорочка толстенькие, перышко к перышку, и расцветка красивая – черно-белая, можно сказать, в полосочку. Венец сего куриного образа – ярко-красный, чуть ли не бордовый, гребешок. Не курица, а загляденье! Такие в суп не попадают. Мирно живут, яйца несут, ненасильственной смертью умирают. Такая курица у баб Зои была одна, уж не припомнишь, откуда и появилась. Остальные обычные, рыжие, тощие, склочные. Никакой от них радости – одни лишь яйца. А эта другая: и красивая, и добрая (уж насколько добрыми могут быть курицы), и на плетень может взлететь, не ленится, и в корыто не лезет прежде времени, дожидается, пока баб Зоя насыпет корма и отойдет. А рыжие-то дуры сразу расквохчутся, головами в корыто сунутся, зерно по гребешкам их бледно-розовым рассыпается и на пол падает. Тьфу, дуры! И потому ходят рыжие безымянными – не заслужили, лишь у черно-белой есть кличка. Как в сказке, Рябой, не хотелось звать – это что ж, у бабы Зои фантазии, что ли, нет? Так что кликала свою любимицу Рябушкой. Нет, это не как в сказке. Это по-своему, по-бабзоиному. Принесла Рябушку, значит, баб Зоя в дом, вызвала Куприньку:

– Иди-ка, че покажу. – Купринька из шкафа вывалился, по полу прокатился, порцию укоров от баб Зои получил: – Ну что ж ты какой! Рябушку испугаешь! Потише ты, потише. – Сама курицу к груди прижимает, по крыльям поглаживает. – Ну подойди, подойди, потрогай.

Купринька тихо, уж на сколько мог, подобрался к баб Зое, к курице руку потянул, а Рябушка как мотнет головой да ка-а-ак кудахтнет: «Пуп-пу-ку-у-у!» Испугался Купринька, отпрянул так, что аж на спину завалился. Засмеялась баб Зоя:

– Эх ты, чудушко. Курицы испугался. Самой трусливой птицы! – Купринька тоже рассмеялся вслед за бабой Зоей, но больше курицу погладить не пытался. – На-каось, покорми ее, – баб Зоя придвинула к Куприньке плошку с зернышками. – Авось и подружитесь.

Купринька плошку в руки взял, посмотрел недоуменно на зерна, потом на бабу Зою, потом опять на зерна. Нахмурился, подцепил одно зернышко двумя пальчиками, покрутил его, рассмотрел со всех сторон, а потом – хап – и в рот. Тут же сморщился, расплевался: «Тфу-фу-фу!» Баб Зоя улыбнулась:

– Что ж ты глупый какой у меня, а? Зачем же зерна-то ешь? – Курицу на пол спустила, та начала взад-вперед похаживать, по полу когтистыми лапами скрести. Какой-то одновременно и приятный звук, и такой, от которого хочется уши заткнуть. Взяла баб Зоя несколько зернышек да и кинула. Курица тут же встрепенулась, на стук падающих зерен бежит, суетится, а как зерно находит, начинает клювом по полу стучать: «Кок-кок-кок-кок, коцаю-клювом-пол. Кок-кок-кок-кок, как-наставлю-круглых-отметин». Купринька, глядя на Рябушку, аж рот открыл, а после и вовсе в ладоши захлопал – ой, как радостно, ой, как хорошо. Затем полез рукой в плошку, зачерпнул зерен побольше, да как кинет их, да со всего-то размаху. Зерна по всей комнате разлетелись. Рябушка аж испугалась и крыльями захлопала, но зерна искать кинулась, даже под кровать ради этого залезла, не побрезговала – не испугалась. А баб Зоя ворчит:

– Ну и дурак же ты, Купринька! Аккуратнее же ж надо быть. Я ж тебе показала, как кидать. А ты что устроил? Ой, горе луковое.

Поселилась Рябушка в доме. Баб Зоя ей что-то навроде гнезда соорудила из старой подушки, но курица гнездо это словно бы не замечала: гуляла по всему дому, спала, где придется, яйца несла, где вздумается. Приносила одно яйцо утром и одно вечером. Иногда – только утром. Баб Зоя яички эти повсюду искала, обнаружив, радовалась, чуть ли не плясала, в после складывала в корзиночку. Набрала штук шесть. Принесла деревянный ящик, сантиметров сорок в длину и чуть меньше в высоту. Вместо одной стенки – клетка с дверкой, такой крошечной, что в нее только куриная голова и пролезет, окорочка придется оставить, но можно ее полностью с крючков снять. Уложила баб Зоя дно ящика соломой, поставила поилку, сложила туда же яйца и усадила на них Рябушку да заперла ее в тюрьме. Рябушка поквохтала недовольно: только что вольготно было, а теперь вот сиди знай. Впрочем, куриное негодование длилось недолго. К вечеру, когда Купринька выполз из шкафа, приманила его баб Зоя пальцем к куриной тюрьме и говорит:

– Цыплята будут. – Хотелось ей именно рябых цыплят, рыжих и без того полно. В деревне вообще давно уже никто куриц на яйца не сажает – затратно это по времени очень. Недели три ждать нужно, следить нужно, чтоб курица сыта была, чтоб не встала с яиц, чтоб готовилась стать матерью со всей куриной ответственностью. И не факт еще, что цыплята вылупятся.

Не раз такое было: сидела-сидела курица, сидела-сидела, да так ничего и не насидела. Деревенские вон давно уже готовых куриц покупают. Каждую весну к магазину клеят объявление: «15 апреля в 13:00 возле ДК продажа кур молодок». И пятнадцатого апреля приезжает машина, в ней набито клеток с курями, все теми же, рыжими. Курицы молодые (так ведь и обещали в объявлении), смешные, драные. Так с машины их и продают. Местные берут побольше, чем требуется, потому что куры эти, с машины купленные, отчего-то быстро мрут. Выживет хоть треть – уже хорошо. Получают курицу в мешке, а все равно покупают. Ленивые все стали. Сосед еще баб Зое инкубатор предлагал. Он тоже с машины теперь куриц покупает, ему теперь ни к чему. Да баб Зоя отказалась: зачем ей предмет, название которого она даже выговорить не может? Кубатор какой-то!

Сосед настаивал, говорил, что так лучше, так в высиживании яиц надежнее. Там даже курица не нужна! Загрузил яиц, поставил нужную температуру и ждешь – просто как! «Просто срать с моста», – ответила на это баб Зоя, чем окончательно отвергла кубатор и надолго отвалила от себя соседа с его животноводческими инновациями. Двадцать один день ухаживала баб Зоя за Рябушкой. Двадцать один вечер Купринька ей в том помогал. Откроет дверку в клетку, поставит воду, немного всегда разольет. Баб Зоя дверку поможет закрыть – не справится Куприньке самому с замком, – а потом усядутся рядышком на пол и станут за наседкой наблюдать. Купринька смотрит не отрываясь, глазами хлопает. Баб Зоя то на курицу, то на мальчика поглядывает. Улыбается. Хорошо как втроем. Уютно. Тепло. А скоро и цыплята пойдут. Цыпленок вылупился всего один. Запомывала баб Зоя, что для этих дел еще бы и петух надобен, а она его рыжим курицам оставила.

Самое первое Рябушкино яйцо еще из курятника принесено было, там, видать, взаимодействие с петухом случилось-таки. Остальные же

прогрелись под куриным тельцем, так и остались к огромному, по куриным меркам, горю Рябушки.

Она отказывалась вставать с яиц, приподнималась, проверяла, как там ее несостоявшиеся дети, после водружалась на них снова и громко кудахтала, стоило протянуть к ней руку. Выгнала ее на волю баб Зоя с горем пополам, с куриными криками на полную. По дому перья летают, словно петушинные бои шли. Убрала яйца, перестелила соломку, пригласила молодую куриную мать в жилище, а с ней и цыпленка. Баб Зоя позволила Куприньке вылезть из шкафа днем ради рождения цыплят (тогда еще не знала, что вылупится лишь один).

Купринька не застал, как новое существо борется со скорлупой, да и баба Зоя этот момент пропустила, но самые первые минуты его жизни они увидели-таки. Цыпленок вылез мокрый, крошечный, жалкий, но быстро обсох и превратился в нежнейший желтый комочек. Юркий, непоседливый, он то грелся об маму-курицу, то бегал по клетке. И непрестанно пищал. Такой тоненький, такой приятный то был писк. Звук новой жизни. Звук новой курицы.

Интересно, петух или курица то вырастет? Еще одна несушка или будущий кандидат в бульон? Баба Зоя и Купринька радовались. Каждый по-своему. Купринька смеялся, хлопал в ладоши, следовал за цыпленком по комнате, сопровождаемый грозным взглядом Рябушки. Та в ребенке своем куриной души не чаяла. Баб Зоя же любила отойти в сторонку, приобнять себя руками и мирно наблюдать за этими тремя, слегка улыбаясь. Цыпленок осмелел, стал чувствовать себя вольготно, хотя старался держаться мамы-курицы, но порой отвлекался и убегал далеко в сторону. Как-то вот под кровать забрался, а обратно нейдет. Уж его баб Зоя звала-звала, уж ему Рябушка квохтала-квохтала, а он знай себе под кроватью гуляет. И вечер уж, в клетку пора бы забраться.

Пришлось баб Зое лечь на пол, под кровать подлезть, аккуратно там руками пошарить. Насилу вытащила желторотого. С любовью в ладонях закрыла, понесла к мамке. Та уж нервничает, кудахчет, то ли ругается, то ли баб Зою поторапливает. А Купринька стоит и восторженно на ладони баб Зои смотрит. И словно бы тянется, тянется к ним.

– Потрогать, что ль, хочешь? – догадалась баб Зоя. Купринька кивнул. Посмотрела баб Зоя на цыпленка, на Куприньку, после – опять

на цыпленка, потом – опять на Куприньку, опять на цыпленка, вздохнула и сдалась:

– Ну хорошо, так и быть, поддержи маненько.

Купринька от радости и нетерпения аж задрожал. Руки протянул, баба Зоя ему в раскрытые ладони цыпленка положила. Схватил его мальчик, сжал, улыбается и на бабу Зою довольный смотрит. И шелохнуться боится. Лишь ладони сжимает покрепче, чтоб не убежал цыпленок.

– Полегче-полегче, – просит баб Зоя Куприньку. Цыпленок нервно пищать начал. – Не сжимай, не сжимай так, – опять просит Куприньку баб Зоя. Цыпленок еще громче запищал. Рябушка тоже подключилась, заметалась по клетке, закудаhtала, говорила словно: «А ну, отпусти моего ребенка!» А Купринька стоит, улыбается и еще крепче сжимает цыпленка.

– Так. Ну все. Отдай, – хмурит брови баба Зоя. Купринька отбегает в другой конец комнаты. Не хочет цыпленка отпускать. – Дай мне его сюда! – чуть ли не кричит баба Зоя. Купринька головой мотает и под стол забирается. Цыпленок больше не пищит. За шиворот вытаскивает баба Зоя мальчика, с трудом расцепляет его ладони, высвобождает оттуда цыпленка. А тот уже мертв. Ни к чему ему теперь свобода. Рябушка все еще нервно квохчет. Умели бы курицы рыдать, наверняка бы уже билась в истерике. Зато баб Зоя плакать умеет. Оседает она на пол, кладет цыпленка себе на колени, лицо ладонями закрывает. И плачет, плачет, плачет, плачет: – За что же ты его так, Купринюшка? Он же живое существо? Он же не заслужил такого? Взял да и убил! Ну как же так-то? – Рыдает баба Зоя. Кудахчет в клетке курица.

Не понимает ничего Купринька. Хватает опять цыпленка, к себе опять прижимает и улыбается довольно.

Глава 9

– О Пресвятая Госпоже Владычице Богоро-о-одице! Кланяйся давай! Падай ниц! Выш-ш-ши еси всех Ангел и Архангел и всея твари честне-е-ейши... Ты креститься будешь али как? ... помощница обидимых, ненадеющихся надеяние, убогих засту-у-упница... Гос-с-споди! Я ж тебя учила. Вот так персты сожми... печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяа-а-ание... Да не с того плеча начал, дурень! Перекрещивайся давай! Не зли Богородицу... больных исцеле-е-ение, грешных спасение, христиан всех поможение и заступлени-и... Молись-молись, Купринька! Молись, чтобы Богородица нас с тобой от любопытных баб защитила. А то ходют тут, понимаешь, вынюхивают. Сами-то мы с тобой не справимси-и, только у Богородицы и просить защиты.

И баба Зоя принималась неистово креститься, не по три раза, как полагается, а по десять или двадцать – так быстро летал перст ото лба к груди, от плеча к плечу, что количество этих полетов никак не сочтешь. Когда-то бабушка Зоя регулярно навещала в церковь («в церкву» – так она сама ее называла). Когда-то – это ровно до появления у нее Куприньки.

Прилежной прихожанкой ее не назовешь: вечерние службы, утренние, богослужения – все это не соблюдалось Зоей Ильиничной. Да и церковь деревенская к тому не располагала. Крохотный деревянный Божий дом прилепился к кладбищу, год за годом подгнивал, валился на правый бок, никем не ремонтировался. Со стороны казалось, что церковь стесняется соседства своего и пытается сбежать. Батюшка Александр открывал и закрывал ее по своему желанию и разумению, службы проводил в полноги, бормоча не то молитву, не то псалмы читая, не то на жизнь свою горькую сетуя. Кто в своем уме на такие службы ходить будет? Уж точно не Зоя Ильинична. Она предпочитала посещать церковь в одиночестве, покупать три свечи – одну ставить Христу, вторую Николаю Чудотворцу, третью Божьей Матери. Первым двум безмолвно и быстро, чуть ли не на ходу, а вот перед последней иконой задерживалась подолгу, вглядывалась в ее скорбные глаза, ждала, пока та замироточит. А как Купринька

появился, походы в церкву прекратились. Слишком уж та далеко от дома находилась, нельзя на столь долгое время мальчика одного дома оставлять. Да и зачем: в доме своя Богоматерь имеется. Обычно бабушка Зоя молилась Богородице по «душевному порыву», как то она сама же именовала. То есть молитвы не знала, Куприньке так говорила:

– Молиться нужно из души. А говорить нужно, как получится, ну, как чувствуется. С Богородицей, как с мамкой надобно: горести свои поведать, как у нее дела, спросить, иногда и попросить кой-чего, но сильно-то не налягать на просьбы, чай, не Дед Мороз, чтоб Богородице говорить: пошли мне того да этого. – Потом же спохватывалась: – Ох, да ты и говорить же толком не можешь. Так ты думай, Купринюшка, думай о хорошем для Богородицы. – А теперь вот она решила, что молитву нужно прочесть как положено, ведь дело-то серьезное: вся их с Купринькой жизнь спокойная на кону.

Нашла «правильную» молитву в календаре отрывном, выписала на листочек (с календарем же не пойдешь Богородице кланяться), выучить не успела, поэтому читала теперь с бумажки, после прочтения пряча ее зачем-то в карман передника. Всякую молитву (а совершались они ежедневно по вечерам) бабушка Зоя ставила Куприньку на колени перед Красным углом, в который вернулась Богородица. Там же теснились иконки Николая Чудотворца, Сергия Радонежского и Святой Троицы. Маленькие такие, ничтожные, по сравнению с Богородицей. Та была старая (не Богоматерь – икона), местами пошедшая трещинами – одна, того и гляди, доберется до младенца Иисуса. Местами затертая, видать, от того, что бабушка Зоя целует ее чуть ли не каждый день, а после протирает остатки поцелуя рукавом платья. Богородица молчаливо взирает на Куприньку и бабушку Зою, распластавшихся по полу, кланяющихся ей в ноги (если бы те видно еще было – на иконе ж она по пояс изображена). Бабушка Зоя перед каждой молитвенной церемонией разжигает церковные свечи, те чадят и пахнут так, что у Куприньки начинает кружиться голова.

Он пытается отползти подальше от Красного угла, а бабушка Зоя на него шикает:

– Богородица все видит. И лень твою видит, и то, что ты ей кланяться отказываешься. Видит-видит! И накажет тебя! Проклянет! Будешь в вечных муках страдать! Давай кланяйся, как положено! – Купринька бьется со всей дури лбом об пол, аж в глазах звездит и

плывет все: растекаются и пол, и бабушка Зоя, и Матерь Божья с Божьим Сыном. Баба Зоя больно щипает Куприньку за щиколотку и шипит: – Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет. Кланяйся, как положено. – Еще лучше кланяться Купринька не умеет. Ниже пола не поклонисься. А вредная Богоматерь все недовольна, все ей не так. От свечного дыма у Куприньки глаза слезятся, он их украдкой утирает, но бабушка Зоя все видит. Она как Богоматерь – всевидящая, всезнающая. Вот только думает, что сии слезы Купринькины от любви к молитве.

– Но-но, не плачь, не надуть. Слезы – напускное. Не плачь! Не мужик, что ль? Вот ежели Богоматерь заплачет, замироточит, это ж вот благодать, а твои слезы – пустое. – Баба Зоя упирается больно пальцем между лопаток Куприньки: – Давай-ко еще раз, а то ты опять всю молитву спортил. – Достает из передника уже изрядно измятую бумажку с молитвою: – О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице-е-е! Выш-ши еси всех Ангел и Архангел и всея твари честнейши, помощница еси обидимых, ненадеющихся надеяние, убогих заступница, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступлени-и-и. Крестись же ты! Крестись, дурень! Да как надобно! Богородица все видит, все твои дурные помыслы.

Купринька же на Бога поглядывает. Бог на иконе еще маленький, едва старше Куприньки. Или все же младше? Не поймешь. У Бога возраста нет с самого его рождения. Интересно, как сейчас выглядит Бог? Все ли еще он молод или количество морщин на его лице больше, чем у бабушки Зои, ведь он ее старше почти на пару тысяч лет? До сих пор ли Бог так же кудряв, как при рождении? И сохранилось ли золото в его волосах или оно так, для иконы лишь (бабушка Зоя говорит – сусальное, что бы это ни значило)? Купринька смотрит Богу в глаза и понимает-чувствует, что как бы ни выглядел взрослый Бог, глаза его по-прежнему добрые, не страшные. Сейчас (это так баба Зоя сказывала) Бог живет на небе, ходит по облакам и все видит. Видит, если Купринька плохо ест, не слушается. Бог и мысли читать умеет: знает, коли Купринька задумал что-то негодное. Бога стоит, конечно, бояться – вдруг он бабушке Зое шепнет что про Куприньку, как, например, тот вылезает из шкафа в ее отсутствие, как в Задверье ходит, хоть и запрещено.

Но Бога не получается бояться. Как можно страшиться того, кто босыми ногами по облакам ступает? Наверняка шаг его мягок, как и все остальное в Боге. Бог не ябеда, он не выдаст Куприньку. Богоматерь тоже доброй выглядит, но она может нашептать бабе Зое про проказы Купринькины чисто как женщина женщине. Ну или хотя бы в благодарность за многочисленные бабкины молитвы. Это хорошо, что большую часть Купринькиных проделок Матерь Божья не видит через красноугловую занавесочку.

Маленький Бог, до которого вот-вот доберется трещина, смотрит на Богоматерь с любовью, нежно касается крохотной ладонью ее щеки. Богоматерь же строго глядит на Куприньку, сверлит взглядом: все-все она про него, негодника, знает. Небогоугодника. Небогоматериугодника. Как можно быть таким веселым сыном, шагающим день и ночь по облакам, у такой строгой матери? Может быть, Богородица только к Куприньке строга? Только он один ей неуютен? Забраться бы от ее взгляда да поглубже в свой шкаф и не вылезать оттуда, покуда не закончится молитва, не погаснут церковные свечи, не закроется занавесками Красный угол.

– Тебя бы, Купринька, в церкву, – говорит баба Зоя. – Вот там бы помолились с тобой хорошенько. Там икона Божьей Матери знаешь какая? Ого-го! От сих и до сих. – И бабушка Зоя взмахивает рукой от пола и куда-то словно выше потолка. Купринька поеживается: куда ж еще больше? Если эта все его грехи видит из своего Угла, то та, церковная, глаза еще больше имеет, еще лучше смотрит – ни один дурной помысел не пропустит. По счастью, бабушка Зоя говорит: – Жаль, что с тобой мы в церкву никогда и не ходим. Очень жаль. Нельзя ж тебе на людях казаться. – А Куприньке это радостно и нисколечко не жаль: на большую Богородицу он даже взглянуть бы побоялся. Бабушка Зоя не отпускает Куприньку до тех пор, пока не погаснут церковные свечи. Они же, как назло, горят долго, медленно, мучительно. И надобно все это время делать вид, что молишься, что помыслы твои чисты, и об пол биться лбом – не слишком усердно, чтобы бабушка Зоя не придиралась и дураком не обзывала, но и не слишком лениво, а не то тебя лбом об пол припечатают хорошенько. Ну, сама баба Зоя. Ну, это чтобы научить, как надобно. Сегодняшняя молитва длилась вечность. Горели самые толстые свечи, самые неторопливые, самые чадающие.

Купринька от усталости прильнул лбом к полу да так и застыл. Бабушка Зоя его не смела трогать: думала, что это он в порыве молитвенном склонился, что думает сейчас о Богородице, просит помочь в беде так сильно, так упорно, что не может подняться. Пусть так. Хоть отстанет хоть немножко. Купринька закрыл глаза и с наслаждением принялся воссоздавать картину Задверья: шумящие травы, яркое солнце, облака боговы, жужжание повсюду. Вот, за что он готов молиться. «Бог, привет. Как ты выглядишь сейчас? Я тебя попросить хочу. Маму твою бабушка Зоя не велит ни о чем просить, а про тебя ничего не говорила. Так вот. Ты послушай, а там уж сам решай, выполнять или нет. Дай мне больше дней за домом. Дай мне больше трав и неба. Больше солнца. Больше бабочек и жуков. Больше этого всего. Мало мне дома. Мало мне бабушки Зои. И шкаф мне тоже уже мал».

Купринька чуть оторвал голову от пола, взглянул на икону. Взгляд Богоматерь перехватила. Небось и молитву Купринькину тоже. На правах матери Богу сказала: «Что это там такое ты слушаешь? Молитву? Дай-ка я сначала, вдруг тебе такое рано слушать». И забрала Купринькину молитву себе. И рассердилась, что он с просьбами такими лезет. И не передала ничего Богу. И пусть! Купринька дождется, пока бабушка Зоя уснет, вылезет из шкафа, проберется к Красному углу, приоткроет занавеску ровно на столько, чтобы только Бог был виден, и нашепчет тому на ухо все свои просьбы повторно. И никто не сможет их перехватить. Ни Божья Матерь. Ни баба Зоя. Спать обе будут. Наверняка.

Глава 10

Богу шептать не стал. Взглянул на Угол и Задверье. Уж больно сильно было желание выскользнуть из домового плена, из шкафной темноты. В первом Задверье темно. Наощупь пробрался ко второму – заперто. Руками по двери шорк-шорк-шорк, нащупал задвижку. Вверх подкинуть, и готово. Вот только бросать резко нельзя – задвижка забренчит-заверещит, выдаст Куприньку.

Осторожно ручонками ее приподнял, медленно опустил: бам-м – глухо стукнулась та о дверь. Замер Купринька, прислушался: не скрипят ли пружины на кровати бабы Зои, не шаркают ли по полу ноги в поисках тапочек, не раздаются ли шаги по комнате, затем по кухне, не надвигается ли гроза. Нет. Тишина. Крепко спит бабушка Зоя, не слышит ничего. Почти смело скрипнув дверью, выглянул Купринька на улицу. А там, вот беда, ни солнца теплого, солнца яркого, ни буйной зелени. Вместо жужжания привычного со всех сторон (кроме спины) раздается загадочное: «Скр-скр. Скр-скр. Скр-скр. Скр-скр». Словно кто-то цокает языком, упрекая Куприньку за ослушание. Иногда кой-где всполохнется и раздастся: «Уху!» А потом вновь тишина, разрезаемая цыканьем. Но хоть небо оставили? Задрал Купринька голову кверху, а та-а-ам... Все небо в дырочку, божий дуршлаг, а сквозь крохотные точки, коих на небе множество – не перечесать, виден свет. Наверно, это Бог зажег по всему своему дому свечи, не знает, что дом его продырявился со всех-то сторон и что льется божий свет не землю. Красота-то какая! А посреди красоты – тонкая желто-белая полоска, будто кот царапнул полукругом. И тоже светится. Не оторвать глаз от божьего дуршлага. Крошечные огонечки притягивают и не отпускают. Хочется смотреть на них безотрывно. Не моргать. Не дышать. Не упустить ни мгновения. И будто все вокруг тянется к божьим огонькам: травы для них шумят, ветер к ним дует, и песнь скрипучая для них раздается, и ухаёт тоже для них. И погрузилось все в темноту, чтобы не переманить на себя внимание – оно сейчас только огонькам предназначено, только им одним. А те мерцают загадочно, преисполненные благодарности. Хо-ро-ш-шо. И нет больше мыслей. Никаких. Ни хороших, ни дурных. Все к огонькам улетели. Быть

может, Бог эти мысли сейчас читает. Вот, если бы темнота дома была такая же, как эта, – со светящимися по всему потолку дырочками, Купринька тогда не так скучал в ней, любил бы ее, ждал ее наступления с радостью. И как знать, быть может, чуть меньше тянулся бы к свету. Купринька шагнул из Задверья в траву, чтобы лучше видеть божий дуршлаг. А тот, оказывается, во все стороны простерся: от верхушек деревьев с одной стороны и края поля – с другой. Весь-весь в огоньках. Лег Купринька на землю, «скр-скр-скр» стало еще ближе, еще громче, травы склонились к лицу. Благодать. Закинул руки за голову Купринька, ногу на ногу. Лежит. Наслаждается. Мысли Богу посылает. Огоньками любит. Бабушка Зоя подскочила на кровати с шумным выдохом, словно от кошмарного сна, которого она не помнила.

В доме темно. Мерно тикают часы. Отчего-то нервно. Неужто и вправду кошмар приснился? Но отчего же тогда его не припомнить?

Вслушалась бабушка Зоя: Купринька не хобродит, умаялся, видать, тоже спит. Надобно перевернуться на другой бок, подушку тоже другой стороной переложить – это чтобы сон дурной ушел, не повторился-не продолжился. Легла баба Зоя лицом к комнате (обычно к стене отворачивается – так покойнее или на спине спит – так привычнее). Легла, а глаз сомкнуть не может, будто бы не слушаются. Какая-то подозрительно непривычная темнота вокруг, чужая. Осторожно, стараясь не скрипеть кроватью, поднялась баб Зоя, ноги свесила с кровати. Встать – не встать? Хочется, но отчего-то очень боязно.

Ладно, можно подняться, воды попить, чтоб успокоиться. И сон дурной окончательно прогнать из постели. Сонная бабушка Зоя прошаркала на кухню, зачерпнула ковшом воду из ведра и тут краем глаза заметила, что входная дверь приоткрыта. Головой тряхнула – а вдруг привиделось, но нет, так и есть – открыта. Где-то с минуту не могла Зоя Ильинична пошевелиться, руки и ноги сковало от ужаса. Хотелось броситься к шкафу, проверить Куприньку, но не получалось. А потом мысли всякие дурные в голову лезут: а вдруг вор, а вдруг убийца, а вдруг Анфиска с Марьей пришли разузнать тайну баб-Зоину? Еле справившись с оцепенением, шагнула Зоя Ильинична за дверь.

Господи! Вторая тоже раскрыта, да еще и настезь! Воры, не иначе!

Стоп. Отчего же тогда в доме тишина? Отчего же до сего момента никто бабу Зою по голове чем тяжелым не огрел? Вышла Зоя Ильинична на улицу, вгляделась во тьму и увидела Куприньку, раскинувшегося на траве. Нога на ногу закинута, болтает правой, паразит. Крикнуть бы ему: «А ну, марш домой!» – да нельзя. Тощие старческие пальцы сжали ночную рубашку, зашипнув заодно и кожу. Зубы пришлось сцепить крепко, чтобы не раскричаться: нельзя, соседи услышат. Плечи задергались от нервного напряжения – танец разозленной.

Быстро подойти или подкрасться? Резко схватить или за руку взять и чуть потянуть на себя, мол, пойдём, дорогой мой человек? Если медленно все делать, то и заметить может, и убежать. И все пропало тогда. Если быстро, то разорется еще от страха ли, от нежелания ли уходить. И тоже все пропало. Решила баба Зоя действовать не резко, но и не мешкать особо. Подкралась к Куприньке (он и не заметил), наклонилась, закрыла собой небо, в плечо вцепилась мертвой хваткой и прошипела:

– Домой.

Купринька глаза от испуга вытаращил, поднялся (баба Зоя крепко за плечо держит, пальцы под ключицу полезли), к дому побрел. А баб Зоя его легонько так попинывает – это чтобы быстрее шел. Мало ли кто увидит, хотя, конечно, темнота и тут их спасает. И ведь ничуть не удивилась, но про себя отметила, что идет Купринька прямо, ногами, хома сапиис, понимаете ли. Задницу не отклячивает, на нелепые четвереньки не встает. Обманывал, значит, бабу Зою?

Интересно, в чем же еще? Что еще она про него не знает? На крыльце Купринька оглянулся в последний раз, бросил взгляд на небо, но тут же получил подзатыльник. И раздалось уже более громкое, более смелое баб-Зоино:

– Пшел быстро!

Следовало бы дожждаться вечера, но очень уж не терпелось приступить к воспитательному процессу, поэтому впервые за несколько лет баба Зоя закрыла оконные ставни посреди бела дня.

– Выходи! – скомандовала она, долбанув кулаком по шкафу. Купринька вывалился на пол, начал вставать было на четвереньки, но

баб Зоя гаркнула: – Оставь это! Видала я вчера, как ты ходишь. Если не делаешь добра, то у дверей грех лежать будет^[10]. – Купринька выпрямился, дверь шкафа прикрыл, встал рядом, потупив глаза. Чужая приближение бури, ведь никогда такого не было, чтобы его днем выпускали. Бабушка Зоя принесла из коридора цепь. На цепи – ошейник. Сосед Ванька дал еще год назад. У него пес умер, нового заводить не стал, а баба Зоя тогда подумывала посадить возле дома Барбоса какого-нибудь, чтобы лаял, когда кто приблизится, оповещал. Авось можно было бы и не прятать Куприньку днем в шкаф. Но отчего-то передумала насчет пса, а цепь вот осталась, а цепь вот пригодилась. На ошейнике железные шипы. Сосед говорил, это чтобы собака не рвалась на цепи: разок ринется, шипы в шею вопьются, поймет, что больно, и впредь дальше длины цепи не рыпнется.

– Я вот тебя на цепь посажу, – пригрозила Куприньке баба Зоя.

Купринька взглянул на новый предмет – выглядит не страшно, даже любопытно, звякает вон. Словно прочитав мысли мальчика, баба Зоя, стукнула цепью о пол:

– А ну подь сюды! – Купринька послушно приблизился к ней. Баба Зоя надела на него ошейник, тот повис на тоненькой шее. Купринька ведь не собака какая. Недоуменно взглянул он на бабу Зою. А та продолжала потряхивать цепью, думая, к чему бы ее приладить. Сама приговаривала: – Посажу-посажу на цепь, будешь сидеть так денно и ночью, никуда не денешься. Будешь знать, как меня не слушаться. Будешь знать, как убегать. Кто бросает камень вверх, получает этой каменюкой по голове^[11]. – Подсунула наконец баба Зоя цепь под один из обломившихся прутьев на кровати. – Вот. Будешь возле кровати моей сидеть, меня сторожить. А я тебя. И никуда ты больше от меня не уйдешь.

От страху ли, от нежелания ли сидеть на цепи дернулся Купринька словно в попытке убежать. Шипы больно врезались в шею сзади и сбоку, проступила на тоненькой Купринькиной шейке кровь. Заплакал Купринька от боли. Ошейник пытается с себя содрать, да не получается. Баба Зоя не хотела поначалу его на цепь-то сажать. Хотела так – припугнуть немного. Но не ведающий всего Купринька не понял, чем страшна для него цепь, и почувствовала это баба Зоя. Почувствовала и решила показать, чего же тут бояться. Демонстрация эта далеко слишком зашла.

Баба Зоя ухватилась за цепь, закричала:

– А ну, успокойся! – да как дернет за цепь со всей дури. Шипы повторно вонзились в шею Куприньки. Мальчик взвыл от невыносимой боли. Несколько капель Купринькиной крови упали на пол, только тогда пришла в себя баба Зоя, только тогда ушла злость из сердца ее. Руками всплеснула, ошейник наскоро сняла, испачкавшись кровью. Купринька выл. На цепь поглядывал с опаской. Баба Зоя принялась обрабатывать ему раны. Те оказались достаточно глубокими, и кровь никак не хотела останавливаться.

Тут в ставни громко постучались:

– Ильинична, у тебя все в порядке?

Черт! Марья приперлась. Чует, что ли, когда приходит надо? Баба Зоя притихла. И Куприньке рот ладонью зажала. Больно так.

Купринька замычал. Баба Зоя на него шикнула:

– Тихо ты! Заткнись, с не то худо нам обоим будет.

– Зоя Ильи-ична? Дома ты? – не унималась под окнами Марья.

– Вот проклятая, – шептала баба Зоя. – Че и привязалась?

Марья громко, требовательно стучала по ставням.

– Так, – скомандовала шепотом баба Зоя Куприньке, – быстро в шкаф, и чтоб ни звука мне. – Кровь все еще сочилась из Купринькиной шеи. – Вату не отпускай, держи, – приказала баба Зоя, заталкивая мальчика в шкаф. Аптечку толкнула ногой под кровать, туда же и цепь отправила.

Вышла на крыльцо. Дверь не отпирала.

– Чего тебе? – скрипуче спросила у Марьи.

– Да я иду, смотрю – у тебя посередь дня ставни закрыты, – отвечала Марья. – Думаю, а что случилось, дай спроведаю.

Вот же ведьма: ходит тут, вынюхивает, словно чует, что есть что скрывать Зое Ильиничне. Мало ли, зачем человек ставни закрыл! Мало ли, когда закрыл! Вот тебе какое дело, а? Мой дом – что хочу, то и делаю! И нечего лезть тут со своим любопытным носом. Идет она, видите ли. Смотрит она, знаете ли. Что, смотреть больше некуда? Но ответила Марье Зоя Ильинична коротко:

– Прихворала малясь.

– Ох, – пыхтела за дверью Марья. – Беда. Так ведь и подумала, так и подумала. Отвори, у меня тут варенье малиновое как раз с собой, будешь пить с ним чай, быстро на ноги встанешь.

Вот ведь пристала, пиявка! Небось и варенья там нет никакого – вынюхать все ей хочется, этой Марье. Первый день, что ли, знакомы?

– У меня и свое есть, – проскрипела баба Зоя.

– Ну... – хотела добавить еще что-то Марья.

Да баба Зоя ее прервала:

– Я лягу пойду. Тяжко. И ты, Марья, ступай, ступай себе.

Глава 11

После смерти Анны в этом доме поселилась скорбь. Тягучая, душная, глубокая до нехватки воздуха скорбь. И даже в самый солнечный день дом казался мрачным, серым, покрытым густым слоем пыли и паутиной, хотя его убирали с прежней, если не с большей, тщательностью. За окном весело щебетали птицы, смеялись дети, лаяли веселые деревенские псы, а здесь стояла тишина. Такая пронзительная, что можно было услышать дыхание хозяйки, когда та его не задерживала в порыве перестать дышать вовсе.

Перестать дышать – значит перестать жить вместе с Анной. Хозяйка, Елена, мать погибшей, замирала вдруг посреди комнаты или у плиты и не дышала столько, сколько могла. Хотела бы дольше, но всякий раз сдавалась, шумно втягивала этот пустой, горький от печали запах дома и продолжала зачем-то жить. Муж Елены, он же отец Анны, Слава, словно прирос к столу. Зайди в любой день, в любой час или минуту, ты застанешь его сидящим за кухонным столом. Руками оперся о столешницу, врезался в табурет, широко расставив ноги, а голову тяжело опустив в некое пространственное Никуда. Пропади она пропадом, эта голова! Поначалу они многое друг другу сказали. О смерти Анны, избегая разговоров об ее проткнутом багром теле.

Их дочь была красива. Даже в гробу. Даже раздувшаяся от воды, синюшая, проткнутая багром. И молода. Господи! как же еще она была молода!

Перебрали тысячи причин ее смерти и успокоились лишь тогда, когда признали ее случайной. Все остальное – самоубийство, насильственность – не укладывалось в их головах. Анна не могла так поступить с ними: взять и уйти. Никто другой не мог так поступить с ними – взять и забрать у них Анну.

Отмели. Открестились. Приняли случайность, только ее и смогли принять. Они прошли этот долгий мучительный путь воспоминаний о дочери с самого начала, с самого ее зачатия: детство, взросление, смерть.

Вспомнили каждую мелочь. То, как Анна впервые пошла и тут же упала. Растянулась на полу и заревела. Ревела ли она, когда так же шла

и упала в злосчастный пруд? Утешил ли ее кто, как тогда, в детстве, отец, взяв свою крошку на руки и крепко прижав к широкой груди?

Вспомнили первый класс, первую двойку, первую Аннину любовь – прыщавого тощего Витьку, ненавистного отцу. Вспомнили первый побег из дома, отхлестанную ремнем задницу, выкрикнутые слова ненависти и последовавшие за ними слезы искупления. Первый отъезд из дома, мучительные ожидания вестей, писем, звонков, приездов в гости. Возвращение в родные пенаты с опущенной от стыда головой, и утешение – мы всегда тебя любим, мы всегда тебя ждем, оставайся с нами навсегда. Дошли до смерти и замолкли. О чем теперь говорить друг с другом? Чему радоваться? Ради чего жить? Есть что-то неправильное в том, что дети умирают раньше родителей. Что-то несправедливое. Словно мир на миг сломался и все пошло кувырком: родители начали хоронить своих детей, а не наоборот. И в эту петлю случайным образом попали Елена со Славой. Попали, оставили в петле свою дочь, жертву поломки мира, а после вернулись к прежней жизни. Только уже без Анны. Мир бросил их, сказав: «Теперь пробуйте вот так». А пробовать совсем не хочется. Елена, скользя по дому, боясь нарушить установившуюся тишину, несколько раз подходила к комнате Анны, открывала дверь, но так и не решилась переступить порог.

Говорят, нужно избавиться от вещей покойной. Выкинуть их, вынести, сжечь, раздать. Сделать что угодно, лишь бы те не торчали в доме. Но если вещи Анны притянут ее душу обратно, то, может, и пускай? Незримая, она будет рядом. Сидеть на своей постели, трогать своего плюшевого мишку, открывать шкаф в поисках лучшего платья для сегодняшнего вечера, петь неслышные родителям песни. А они поймут, что Анна тут, Анна рядом, Анна никуда от них не ушла. Елена думала об этом и в сотый раз закрывала дверь в комнату дочери. Нечего туда ходить. Больно. И Анну не стоит тревожить. Первое время, когда по дому находились Аннины вещи – оставленный носовой платок, брошенная в стирку кофта, губная помада, выпавшая из кармана, расческа возле зеркала в ванной, – Елена хватала найденное, бежала так, словно то обжигает ей руки, и бросала, не глядя, в комнату дочери. Там всему этому место. Нечего по дому разбросанным быть, нечего теревить душу неуспокоившихся родителей. Вот там, за этой дверью, живет память об Анне, и все

остальное тоже пускай там будет. Слава на комнату дочери и вовсе боялся взглянуть. Оказавшись с нею рядом, он затыкал уши в попытке убедить себя, что Анна жива, сидит себе в комнате, слушает музыку или трещит с подружкой о том, о сем, о девичьем.

Заткнуть уши, чтоб обмануть себя в том, что за дверью этой комнаты не тишина. Никто не поет, никто ничего не слушает, никто не разговаривает. Ти-ши-на. Пустая. Мертвая. Слава попытался однажды передвинуть шкаф, закрыть им треклятую дверь, создать видимость, что и не было ее здесь никогда. Елена воспротивилась: куда же она в таком случае будет сбрасывать найденные осколки жизни их дочери? Где найти еще одну такую Черную дыру, поглощающую все, что оказалось рядом с ней, но в наказание им выплевывающую боль раз за разом, стоит только оказаться рядом? Разговоры в этом доме смолкли вот уже несколько лет как. Два некогда родных, теперь же в горе отдалившихся друг от друга человека, существуют в четырех стенах, скорбят вместе, но больше все же порознь, разрезают своими телами установившуюся здесь тишину. И много незримых черт по всему их жилищу. Черта между некогда любящими друг друга мужем и женой, черта на пороге дома, отделяющая их от соседей и прочих незваных гостей, черта посередине кровати.

Лежат муж с женой, руки вдоль тел вытянули, каждый своим одеялом накрылся, и боятся ненароком эту черту пересечь, случайно во сне задеть другого.

Елена устала. От черт. От тишины. От скорби. От пожелтевшей двери в комнату Анны. От вечно склоненной головы мужа. От его опустившихся на стол рук. Так дальше не может продолжаться. Были бы они городскими жителями, давно бы разошлись-разъехались, забыли бы друг друга, забыли, что была у них общая дочь, принесшая им общую скорбь. Зажили бы сызнова. Но в деревне так нельзя. Неси свой крест до конца. Вместе будь, даже если уже не может.

Да и потом – куда идти-то? На край поля? В лес? Заселись в заброшенный дом на окраине?

Некуда идти. Всюду будешь влачить за собой общую с мужем скорбь. А так нельзя: другим в деревне твоя скорбь не нужна, сиди с нею дома и не высывайся. Елена решила поговорить с мужем. Не может, нет, не может так больше продолжаться.

Это решение она взвешивала, отмеряла долгими бессонными ночами, вглядываясь в темноту, вслушиваясь в ровное дыхание мужа и редкие всхрапывания, такие неестественные, что становилось понятно – Слава тоже не спит. Слова не шли. Липли к горлу, комковались, перекрывали воздух. Хочется сказать: «А!» – но вырывается лишь свист. И стоит Елена с открытым ртом, шипит, пытается поднять из нутра свинцовые слова, а не получается.

И Слава этого не видит. Не замечает этой немой сцены, развернувшейся у него за спиной, не подозревает, что там жена выковыривает из себя звук, застрявший где-то там, то ли в груди, то ли в районе сердца. Не идет. Елена села за стол, положила мягкие свои руки на мозолистые от работы ладони мужа. Порвалась одна черта, и словно бы что-то щелкнуло, еле слышно так – тцк.

Слава вздрогнул и удивленно уставился на жену. Он словно позабыл, как она выглядит.

А жена постарела. Седая прядь волос. Где же иссиня-черная коса? Откуда это серебро у лба взялось? Губы надломлены вечной скорбной улыбкой. Карие глаза потухли, почернели.

Лена, ты ли это или только твоя тень? Взглянул бы Слава хоть разок в зеркало и себя бы тоже не признал в этом старике с неровно выбритым подбородком и глубокими морщинами на лбу. Елена набрала побольше воздуха, чтобы вытолкнуть им все накопившееся внутри.

– Слава, – высвистелось из груди. Слава вздрогнул еще раз. Одернул руки в порыве заткнуть уши. Опять заткнуть уши. Но на сей раз было действительно громко. Для него громко. Для этого дома громко. Столько лет ни звука, кроме шарканья ног, слабого дыхания и редких всхлипов. А тут вдруг: «Слава!» А из Елены полились слова, нескончаемый поток, будто прорвало внутри плотину: – Так дальше не может продолжаться, Славочка. Мы не должны больше так жить. Мы же и не живем больше. Так, существуем. Нам нужно прийти в себя. Слышишь? Ради нас самих. Ради Анны.

Анна. Словно выстрел ружья. В самое сердце. На разрыв. Анна.

– Не произноси ее имени, – просипел Слава.

– Анна, – повторила Елена. – Анна, дочь наша. Анна хотела бы, чтобы мы жили дальше.

– Мы живем.

– Существоем.

– Откуда тебе знать, чего бы она хотела? Ее нет! Нет! – взревел Слава.

– Оттуда, что я ее мать.

– А я отец! И что с того? Отец, мать... оба не уберегли.

– Слава... – Елена сжала руки мужа так крепко, как только могла, словно это помогло бы привести его в чувства. Но муж вырвал руки, вскочил, отвернулся от нее. – Слава... – Сел обратно. Пригвоздился вновь к табурету, голову на стол уронил и разрыдался, громко так, не по-мужски, со всхлипами, с задыханиями, с затиханиями и охами.

Елена обняла мужа, обхватила обеими руками, закрыла телом своим, налегла сверху.

– Слава, Слава, Слава.

Они рыдали оба так, словно впервые узнали весть о смерти дочери. Хотя в тот день они оба оцепенели, не смогли ни слова сказать, ни слезинки проронить. И принимали соболезнования в этом оцепенении, и хоронили молча, бесслезно, и поминали без эмоций, и вспоминали в душевном спокойствии. А теперь вот прорвало.

– Надо жить, Слава, – повторила Елена. – Дальше жить. Ради Анны. – Имя дочери все еще вонзалось в грудь ножами.

– Но как? Как, Лена, скажи? – не понимал Слава.

– Нужно что-то делать. Нужно вновь выходить к людям, общаться.

Слава замотал головой в несогласии:

– А они нам вслед будут кричать: «Не уберегли!»

– Не будут, – сказала Елена. – Столько лет прошло, никто уж и не помнит нашу Анну.

– Я помню! – воспротивился Слава.

– И я помню, – ответила Елена. – Но мы же не будем кричать вслед друг другу, правда? – Слава как-то по-детски шмыгнул носом, вытер рукавом глаза и сопли, растер больше по лицу, и согласно кивнул. – Я вот, что думаю, – продолжила Елена. – Может, нам удочерить кого? Ну, девочку. Будет у нас новая Анна. Лучше, конечно, не Анна, чтобы не искали в ней нашу первую дочь. Ребенок же не виноват в нашей трагедии, ему ни к чему страдать. Но непременно девочку. Смешливую, с бантиками.

– С бантиками, – расплываясь в мечтательной улыбке, вторил жене Слава.

– Мы ей купим новых платьев, игрушек, – говорила Елена.

– И пупса в коляске.

– И пупса, – согласилась Елена.

Вдруг улыбка сошла со Славиного лица, брови нахмурились.

– Нет, – отрезал он. – Не надо. Не будем удочерять никого.

– Но почему же, Славочка? Мне в этом видится единственное наше спасение.

– Я не смогу полюбить никого, кроме Анны, – тряс седой головой Слава. – Никакую другую девочку, будь у нее хоть сотня бантиков и платьев. Она не заменит мне Анны.

Елена пожала плечами:

– А она и не должна заменить ее. Ее никто и никогда нам не заменит. А вот подарить новую любовь и новый смысл жизни она нам очень даже может.

– Но мы же такие старые уже для детей! – воскликнул почти в ужасе Слава.

– Не на столько старые, чтобы и дальше себя хоронить, – возразила ему жена.

Вновь возникла тишина, но уже не столь пронзительная, не такая вязкая.

– Я подумаю, – сказал Слава, прогнав тишину из этого дома окончательно. Той ночью – тцк – лопнула еще одна незримая черта. Та, что посреди кровати тянулась.

* * *

Может показаться, что родители Анны недостаточно крепко ее любили. Знаете, как бывает: есть ребенок и ладно. Лишь бы под ногами не путался, одежду да обувь не рвал и двойки, например, из школы чтоб не приносил. Или еще так: с младенчества и лет до трех-четырёх умиляются пухлощекому дитятку, целуют пятки (а некоторые даже ягодички), щекочут пузик, рассылают фотографии всем родственникам, чтоб те полюбовались и комплиментов отсыпали. А едва только дитяtko израстается, вся любовь к нему улетучивается. И

пятки такой каланче целовать не хочется. И вот только если что случится с кровиночкой (не дай Бог смерть), то тогда-то и очухиваются родители, тогда-то и начинают рыдать-причитать, волосы на головах рвать: «На что же ты нас оставил(а)? Зачем ты нас покинул(а)? Да куда ж ты вперед батьки с мамкой?» И вспомнят, что любили свое дитя, как не любил никто прежде. И поймут, что жить без него никак не смогут. Запрутся. Замкнутся. Будут страдать до самой своей смерти. И на смертном одре – на кровати ли в спальне своей или на больничной койке – улыбнутся облегченно и еле слышно шепнут: «Иду-иду к тебе (вставить имя ребенка), жди, скоро буду. Скоро будем вместе».

Но то не про родителей Анны. Нет же. Хотя и по смерти ее они страдали, хотя и замкнулись в себе и доме своем. Но целовать ее пяточки готовы были хоть до восемнадцати лет. Но там уже сама Анна не давалась. Слава щекотал ее до визга – в чем, в чем, а уж в щекотке он знал толк. Аня чуть ли не задыхалась, по полу перекатывалась, а едва папа пытался дотронуться до пяток, вскакивала и смешливо хмурила брови: «Ну па, ну я ж не маленькая». Тут же уходила к себе в комнату, словно убегала от детских забав, но всякий раз возвращалась и бросалась отцу на шею. Слава смеялся: «Задушишь, задушишь же!» А сам в ответ не менее крепко обнимал дочь. Елена, как и всякая мать, стремилась порадовать Анну вкусностями: ее любимыми пирожками с капустой, сахарным печеньем, петушками из самодельной карамели. Анна той еще сладкоежкой была.

И обязательный ритуал, даже таинство: перед сном долго-долго расчесывать дочкины непослушные волосы. Нужно сто раз, чтобы были те шелковистыми, чтобы стали те послушными. Зажгут ночник, усядутся перед зеркалом. Елена аккуратно расплетет девичьи косы, челку взъерошит и примется расчесывать. Сама песню напевает. Песню без слов, больше даже мурлыканье, Анне с самого детства знакомое.

И это только их время, матери и дочки. Словно целый мир скукоживается до одной комнатки, и все, что тебе в этой жизни нужно, вот здесь, под рукой.

Анна перед зеркалом не вертится, смотрит то на свое отражение, то на Еленино, ищет схожести во внешности. Вот, вроде, нос мамин и губы. Лоб только папкин – высокий. Тот говорит, что это от большого

ума, но этот «большой ум» девочке приходится закрывать непослушной челкой. Иначе кажется, что она и не девочка вовсе, а инопланетянин какой-нибудь. Как бы хотелось все же на маму быть похожей. Она вон какая красивая.

Елена же на это улыбается: «Да папа у нас тоже тот еще красавец». Анна нос морщит: «Не хочу на мужчину быть похожей». Елена смеется: «Да ты и не будешь! А вообще, говорят, что девочки, похожие на своих отцов, вырастут счастливыми». «Я и так уже счастлива, мама».

Лишь только один момент, омрачивший девичье счастье, помнит Анна. Совершила она тогда незначительную провинность: то ли на полчаса позже условленного домой вернулась, то ли посуду не помыла. Такое и раньше случалось, родители, конечно, журили, но сильно не ругались никогда.

На сей раз Елена не в духе была. Будто сам черт ее покусал. Или нашептал на ухо: «Наказать надо негодную девчонку!» И Елена схватила домашнюю тапку и шлепнула по заднице Анну аж целых три раза. Били ли вас когда-нибудь домашней тапкой? Нет? Так знайте, что тапка Елены была мягкой, пушистой. Такой, как ни замахивайся, больно не ударишь.

Не почувствовала Анна боли, но все равно на мать разобиделась. Ишь чего выдумала – дочь бить! От самого поступка больно было.

Разрыдалась Анна. От обиды. Ушла в свою комнату, заперлась там.

Черт с плеча Елены вмиг свалился, обратно уже не забрать. Стыдно стало матери, что вот так вот с дочкой обошлась. Действительно, не велика и провинность. За что, спрашивается, шлепнула? Еще и три раза – в добрых русских традициях, три поцелуя при встрече, Бог тоже любит троицу, три удара по заднице. Долго стучалась Елена в дверь Анниной комнаты, долго не пускала ее дочь. А едва только дверь открыла, вроде как сжалилась, кинулись обе друг другу в объятия: мать, чтобы искупление найти, дочь, чтобы убедиться в том, что сильна еще материнская любовь, что случайными были те удары. Но все же до конца своих дней случай тот Анна помнила, до самого пруда злосчастного. Не сердилась, но зачем-то в уме держала. Так, на всякий случай.

И невозможно оставаться равнодушным, когда родная дочь уезжает учиться. Тут впервые узнаешь, что такое «оторвать от сердца». Да что там! Это словно целое сердце вырвать из груди и оставить биться где-то там, в стороне, чтобы теплилась в тебе жизнь, но ты толком не чувствовала. Говорят, привыкаешь. Говорят, что птицы должны лететь из гнезда. Но не так-то просто их отпускать. Все думаешь: а не обрезать ли крылья. Фу, какая жестокость! Уезжая, Анна обещала: «Писать буду, звонить буду каждый день». И правда, поначалу так и поступала. А потом звонки становились реже, короче. Иногда ограничивались: «Мам, мне некогда, я потом перезвоню». И назавтра некогда, и послезавтра тоже. Так же с приездами: поначалу каждые выходные навещала Анна оставленных ею родителей, после – раз в месяц, а потом и вовсе перестала появляться. Грустно. Скучающие по дочери Елена и Слава места себе не находили. Ну хоть бы одним глазком ее увидеть, хоть с минуточку постоять рядом. И они собрались, и они поехали в город дочь навестить. А дочь и нос воротит: «И кто же заявляется без предупреждения? Мам, пап, ну вы что дети малые! У меня вообще-то планы на эти выходные. Мы с девчонками в клуб идем». Елена растерялась: «Так мы ж не против клуба, Аннушка. Хочешь – ступай. Мы как раз спать ляжем. А перед этим с тобой побудем». Анна фыркнула: «Со мной они побудут. А краситься я когда буду? А собираться? Что ж мне, чучелом в клуб идти?» – «Да разве ж мы помешаем, доченька?» – недоумевал Слава. «Еще как помешаете! Давайте по чашке чая с дороги, – смилостивилась Анна. – И ступайте. Завтра еще перед отъездом, так и быть, загляните на прощание. Но это, если не рано поедете. Рано я после клуба не встану». По чашке чая – и на том спасибо. Целых десять минуточек рядом с дочерью.

Ох, красавица выросла. Ох, умница. Не успел Слава последний глоток отпить, как вытолкала их Анна за дверь: «Ну все, все. Повидались, и хватит». Наутро не вышла. Потом по телефону сказала, что «рано приперлись».

Жаль. Даже не обнялись за эту встречу. А потом Анну из университета выгнали. Хвосты сессионные не подтянула, прогуляла все.

Пришлось домой возвращаться. Очень не хотелось, стыдно как-то, непонятно только, перед кем больше – перед родителями или

односельчанами. У них в деревне позорно поступать и недоучиваться. Уж лучше вовсе не пытаться и школой ограничиться. А универ или даже училище бросать – дело негодное, постыдное. А уж если самого прогнали, то и вовсе никуда не годится. Нет, не хотелось к родителям возвращаться, но больше некуда. Нигде не ждут. Никуда не зовут. Елена же со Славой ни слова укора не сказали дочери. Ну что ж, не сложилось, не получилось. Побудь пока, доченька, с нами, отдохни, подумай. Там или заново поступишь, или восстановишься, если получится, или работать пойдешь. Все, что сама захочешь. Мы любое твоё решение поддержим. Отчего же Анна не сказала родителям, что беременна? Почему не доверилась им? Они бы приняли её ребенка, не спросили б даже, от кого он. И радовались бы пополнению в семье.

Откуда появилось это недоверие? Виновата ли в том домашняя тапка, которой Елена трижды ударила свою дочь? Если за такую мелочь перепало, то чего же ждать за нежданную беременность, за постыдную беременность. Или это разлука, город сломали бедную девочку? Подмяли под себя, оторвали от родителей, разрушили отношения, отобрали доверие. Кто ж теперь разберет. Не вернуть Анну. Не вернуть и доверие. Одна лишь любовь осталась. Все еще живет, все еще теплится, хотя и частичка ее давно лежит в гробу, придавленная тяжелой землей.

Глава 12

Цепь баба Зоя положила на стол, чтоб на виду была. Ошейник расправила заботливо, шипы погладила нежно, на палец плюнула и кровь с них оттерла. С этих пор она всюду будет цепь с собой таскать, чтобы Купринька не забывал, что бывает за непослушание. И хотя ел он всегда (за исключением одного раза) без особых проблем, напоминание и тут не помешает. Купринька нервно ерзал на табурете да поглядывал на цепь и (особенно) на ошейник. Боялся. Баба Зоя нарочно задела цепь, чтобы та звякнула об стол.

Купринька вздрогнул. Баба Зоя ухмыльнулась:

– Да не бойсь. Покуда хорошо себя ведешь, не буду на цепь сажать.

Слово свое она в тот же день нарушит. Сейчас же она довольно хмыкает, поглаживает цепь, пережевывает для Куприньки еду, уминает свою. Пару раз взглянула на шею мальчика: ничего, заживет. Кровь в местах проколов запеклась, Купринька попытался ее сорвать, но баба Зоя хлестнула его по рукам – не трожь! Надо будет отмыть потом хорошенько эту шею, непременно положив перед тазом цепь с ошейником, чтобы Купринька не дергался – болячки бывает неприятно скоблить. Шкаф, конечно, весь в крови уделал. Ничего, отмоет. Он же теперь большой, самостоятельный, прямоходящий. Пусть учится, пусть знает: сам изгваздал, сам и убирай. Нечего! А коли откажется, так цепь-то всегда рядом: разок ею тряхни, так отмоет шкаф как миленький. С сего дня боялась баба Зоя оставить Куприньку одного. Подумайте только: это он при ней, пускай и спящей, умудрился из дома сбежать, а что же будет, если она в магазин отлучится? Пойдет по деревне шляться? Все будут спрашивать: «Мальчик, ты чей?» Ведь своих мальчиков тут все в лицо знают. А мальчик будет на баб-Зоин дом кивать, тогда-то все и вскрыется. Господи! да разве ж это преступление? Она ж его спасла, выходила, вырастила, получается, что и ходить научила (говорить вот не очень, но что-то умеет все же), а все чего-то боится.

Нет, нет, тут стоит бояться. На милость местных нечего надеяться. Скажут – старая. Скажут – полоумная. Скажут – недостойная. И

отберут Куприньку. Как пить дать отберут. Потом еще насмеяться будут: «Так вот какой он, твой домовенок». И вновь одна останется баба Зоя. Одинешенька. Вся насмешками облепленная. Нет уж! Не бывать этому! Пока не придумала, как его запереть, чтобы не убежал, никуда из дома не выйдет баба Зоя – таково было решение. Еды хватит на неделю минимум. Если не деликатесничать, и того более. Подумаешь, без свежего хлеба посидят. Сухари вон для желудка полезнее! Можно, конечно, закрывать на время отлучения баб Зою из дома Куприньку в подвал, так там оконце крохотное имеется: не хочется и проверять, пролезет в него мальчишка или нет. Можно в чулан посадить, замок только от него найти и посадить. Так чулан вон тут, при входе.

Что, если расшумится Купринька? Баба Зоя в магазине, в доме шум. Кто услышит, дверь выломает и проверит, кто шумит – уж не вору ли. И обнаружит Куприньку. А дальше что – вы знаете. Хорошо, если не решат, что она его вот только что украла. Преступление налицо. Нет уж, спасибо и без чулана. А просто в доме закрывать – бесполезно. Этот пройдоха найдет как сбежать. Окно вон выломает – и был таков. Посидит пока баба Зоя дома. К тому же Марье больной сказала, нужно выждать время.

Вот только корову нужно доить, кормить. И курицам зерна бы насыпать, воды налить, яйца проверить. Скотный двор, конечно, пристроен прямо к дому, но вот коровник у самой дальней стенки. Молоко по подойнику звонко бьется, пока корову доишь. Курицы вечно раскудахчутся, разлетятся, поднимут гвалт, мол, зачем наши яйца отбираешь, старуха? Словом, можно и не услышать, как Купринька из дома на улицу выбирается. Беда. Надобно с собой его брать. Прихватила баба Зоя ведро, вытащила Куприньку из шкафа (пока еще неотмытого), подняла на ноги и тычками направила к двери. При выходе сняла с гвоздя ошейник с цепью, потрясла для острастки им перед лицом мальчишка. Тот отдернулся в испуге.

– То-то же, смотри мне, – довольно промолвила баба Зоя. Сначала Куприньку в курятник затолкала, курятник закрыла. Воды курам налила, зерна насыпала, яйца собрала, сунула их в руки Куприньке. А вот корову доить как? Та прижалась к стене и не двинется. Ежели сесть на скамеечку для дойки, то уставится баба Зоя в коровий бок и

все ту же стену, не увидит ничего, что творится в хлеву. Беги, Купринька, не хочу. И вот тогда-то и нарушила баба Зоя еще свежее, обеденное обещание: накинула ошейник на шею Куприньке, а цепь – на гвоздь в стене подле коровы. Не сбежит. Купринька весь сжался, двигаться боится, дышать боится – не хочет, чтобы шипы вновь впились в шею. А та еще саднит, ноет. Больно даже от прикосновения к ней холодного ошейника. Крупные слезы катятся по Купринькиным щекам.

– Да ты сядь, – приказывает ему баба Зоя. А он не может. Он боится шевелиться. Даже попытка нагнуться, чтобы придвинуть скамейку, закончится очередной порцией шипов в шею. Повторно эту боль испытывать не хочется. А баба Зоя, словно не понимает, что это Купринька застыл. – Сядь, кому говорят! – гаркнула.

– Нибуду, – полепетал Купринька.

– СЯДЬ!

Корова, обычно спокойная, вздрогнула и перестала молоко давать.

– Ни котю. – Слезы градом катятся-катятся-катятся.

– Я должна тебя видеть, – процедила сквозь зубы баба Зоя, поглаживая при этом корову, надеясь, что та успокоится и отдаст остатки молока. – Стой, если так хочешь, но во-он сюды передвинься.

– У-у-ум, – простонал Купринька и не сдвинулся с места.

– Сюда, кому сказала! – взревела баба Зоя и дернула за цепь. Купринька, предугадывая это ее движение, на доли секунды раньше схватился за ошейник, чтобы не впился вновь в шею. Но все равно больно. Несколько шипов все же процарапали кожу, опять до крови. Купринька вскрикнул и тут же умолк под грозным взглядом бабы Зои. Та молча смотрела на него с минуту, а после сказала: – Так мы с тобой и за год твою шею не излечим. И принялась вновь наглаживать корову, выпрашивая у той молоко.

Молились тоже теперь с цепью: чадающие, Куприньку не щадящие свечи, пристальный взгляд Богоматери и лежащий перед иконами ошейник. Ни о чем другом, кроме него, не мог думать Купринька и в мысленных молитвах своих просил младенца Иисуса уничтожить эту цепь, сделать так, чтобы пропал ненавистный ошейник.

Иисус прижимался к Богоматери, смотрел на Куприньку грустно и ничего не мог поделать. Божье дитя, нареченный Купринькою, истекал

кровью, что лилась из дыр в его теле, а Бог безмолвствовал. Видать, сам цепи побаивался. И ошейника с шипами.

А потом баба Зоя придумала развлечение. Едва темнело (ну чтобы людей по улице меньше шастало, ставни-то и без того который день не открывались), она выволакивала Куприньку из шкафа, накидывала на шею ошейник, наотмашь била по губам, если мальчик начинал выть, цепь прикрепляла на гвоздь посреди комнаты (специально для такого случая вбила, днем и на сон прикрывала банкой полуторалитровой, чтобы случайно не наступить на него) и заставляла Куприньку танцевать. Вроде циркового медведя. Баба Зоя весело хлопала в ладоши и напевала:

– Тритатуши, три-та-та, да вышла кошка за кота! За Кота Котовича, за Петра Петровича! Ай, тритатуши да три-та-та!

Купринька конвульсивно дергался посреди комнаты. Движения его больше походили на судороги, эпилептический припадок, чем на танец. Мальчик боялся неверного шага, неправильного взмаха руки, потому как ошибки приносили ему новую боль. Кожа на шее была содрана в нескольких местах, по всей ее длине со всех ее сторон тянулись кровавые царапины, на которые то тут, то там нанизывались глубокие проколы.

Едва только Купринька тянулся руками к ошейнику, чтобы придержать его в этом безумном танце, чтобы тот не царапал больше, не впивался, не причинял боль, то тут же получал по ладоням мухобойкой.

– Я вот тебе! – орала баба Зоя. – Пляши давай, маши руками давай! Веселись, Купринька! Тритатуши. Три-та-та. – И Купринька танцевал. Дергался. Бился. Наступал на гвоздь. Бередила старые раны на шее. За ворот текли тонкие струйки крови. За них ему тоже потом попадет: всю одежду перепортил, паршивец такой. Три-та-та. Танцевал, пока не падал посреди комнаты. Ненавистная цепь громко звякала, словно возмущаясь: «Чего остановился-то?» Баба Зоя пинала Куприньку ногой.

– Ну чо? Натанцевалси? – Потом шла на кухню за водой, давала сделать глоток из ковшика обессилевшему мальчику, а остаток выливали на него сверху. Это чтоб пришел в себя быстрее. Швыряла в Куприньку половую тряпку. Это чтобы вытер лужу под собой. Иногда

там бывала смесь из вылитой на мальчика воды и его мочи: отлучаться в туалет во время танцев было нельзя. Разве будет баба Зоя в такой мерзости возиться-вытирать? Пускай сам за собой подтирает. Не маленький. Далее ругала за окровавленную рубашку, сдирала ее с Куприньки, пуговицы летели и закатывались под кровать. Обеспуговленной рубашкой била баба Зоя Куприньку по лицу: будет знать, как вещи портить! Выбрасывала рубашку – кому охота отстирывать. Выдыхала. Смотрела на Куприньку. Жалостивилась. Бросалась к нему, распластанному на полу, на высыхающей луже, с тряпкой половой в руке. Бросалась на шею, не замечая, что Купринька от нее отстраняется. Целовала его, обнимала, гладила по щекам нерумяным, лохматила чубчик.

– Господи! Родненький! Что ж я наделала-то? Вскокивала с пола, тащила аптечку. – Сейчас-сейчас все замажем, все залечим. – Щедро лила на Купринькину шею перекись, не обращала внимания на вскрики, обтирала ваткой, мазала зеленкой, покрывала раны поцелуями. – Мы все вылечим, родненький. Все-все вылечим, слышишь? – А назавтра танцы на цепи повторились. Три. Та. Та.

Глава 13

Марья поставила на стол кастрюлю с пельменями: постоянные накладывания, подкладывания, беготня от плиты к столу, то добавки, то бульон слей, то бульона подлей – кому все это нужно? Хочется сесть и поесть спокойно. Вот и уселась Марья на табурет, подцепила несколько пельменей себе, две поварешки – мужу Генке. Щедро навалила сметаны.

Генка принялся методично жевать. Ел он, конечно, неприятно: чамкал-чавкал, то и дело втягивал через сомкнутые зубы воздух, рыгал, ковырял отрощенным ногтем на мизинце где-то между пятеркой и клыком (вечно у него там вся еда застревала), съедал добытое, вытирал рот рукавом, не замечал капли жира на бороде, потел, краснел аж до самой лысины.

Словом, зрелище не из тех, что хочется лицезреть ежедневно, да и не по разу, но Марье приходилось. Если от звуков деться некуда, то не смотреть на Генку, да так, чтобы тот не обиделся, Марья за долгие годы совместной жизни научилась. То хлеб примется разглядывать, то молоко, то гречки насыпет на стол и ну ее перебирать, словно нет больше времени, кроме как за обедом. Но сейчас Марья посмотрела на Генку пристально, в упор. Генка с непривычки аж неуютно себя почувствовал.

– Ты что это? – жену спросил. А сам и ложку в рот не кладет – во как странен был Марьин взгляд.

– Что-то не нравится мне в последнее время Зоя.

Генка выдохнул облегченно:

– А, ты все о старом. Марья давно уже за Зоей следит, давно уже на Генку наседает, что помощь той нужна, а какая именно помощь, сказать не может. Да они из-за этой Зои уже сто раз переругались и, кажется, еще столько раз повздорят.

– О старом, о старом, – затараторила Мария. – У нее вон ставни уже который день закрыты. Разве бывало такое когда?

Генка почесал толстую шею.

– Ну закрыты и закрыты. Хочется, так пускай. Может, ей в темноте посидеть хочется.

Генка – мужик простой, как и все деревенские мужики. У него забот: скотину содержать, жену содержать, в праздник стопку самогонки дернуть. Все. А вот эти бабские дела его совершенно не волнуют. Бабам, особенно деревенским, свойственно придумывать то, чего нет. Ну вот скучно им, видать, живется без придумок этих своих. Ругать их за это не стоит, но и потакать не следует. Не хватало еще стать сообщником по бабьим сплеткам! Это ж всю мужицкую честь уронить и ни в жизнь не поднять.

– Хочется? Разве это нормально? Нормально такие хотелки, ты мне скажи? – вспылила Марья.

Генка уткнулся в тарелку с пельменями – эх, остывают.

– Ты ж сама говорила, что Ильинична заболела...

– Да она уже не первый раз болеет! Что ж она не человек, что ли, не болеть никогда?

– Ну. И я о том же. – А вот ставни закрыты у нее днем впервой! – нажимала Марья.

– Бывает, – не сдавался Генка. Совсем остыли пельмени.

– А я тебе говорю, что там нечисто дело. Боюсь, как бы наша Ильинична не сошла с ума. С ней давно что-то неладное творится. Странненькая вся из себя стала.

Генка в сердцах кинул ложку на стол. Обед сегодня сорван.

– Странненькая? Да она ж всегда такой была! Живет одна, забот никаких, ни об ком. Конечно, под старость лет начнешь всякое вон выкидывать. Ты-то че переживаешь?

Марья потупилась.

– Дак она мне подруга вроде как.

Генка усмехнулся:

– Подруга? Тоже мне. Именно что – «вроде как». Ты к ней в гости сколько раз набивалась? А ее к нам сколько раз звала? А? То-то же.

И вправду, еще с молодости Марья не раз пыталась зайти к Зое на чай, а та не особо приглашала: к дому на лавочку выйдет поговорить, а в дом не позовет. Да и разговорами не назовешь это действие. Так, посидишь с ней бок о бок, обменяешься междометиями – «погодка-то, эх», «М-да-а», «о какой, глянь», «батюшки» «ишь», «вот те раз» – да домой пойдешь, не прощаясь толком. К себе звала в гости – почти та же малина, только Зоя вовсе не приходила. Обещалась каждый раз, да так за столько-то лет и не дошла. А Марья, помнится, первое время

даже пироги для чаепития пекла. Обидно как. В лес вот – пожалуйста, Зоя всегда за. У магазина постоять, покупки обсудить – тоже можно. Как лето, то раз в неделю до деревенской окраины прогуляться выходила со всеми. Говорила мало, слушала внимательно. А последние годы перестала и на прогулки выходить. Действительно, непонятно, что это Марья так к ней в подруги все это время набивалась. Отчего сейчас печется – тоже неясно. Однажды они с Генкой чуть было мужа Зое не сосватали, да только зря старались. А мужик-то хороший был, ну, неплохой Генкин троюродный ли, четвероюродный ли брат. Кажется, по материнской линии. Словом, родственник. Володей звали. Впрочем, и до сих пор Володей зовут, только он больше в деревне их не объявлялся. Но вы не подумайте, не Зоя тому виной-причиной. Уж точно не она. Ох, опять эти истории про неудавшиеся баб-Зоины отношения. В общем, как было все. Володя приехал на свадьбу Генкину и Марьину. Зоя тоже приглашена была, да только не пришла. Можно подумать, вот и вся история несостоявшегося сватовства, но нет, не вся. Володе заранее, до свадьбы, пообещали, что познакомят с девушкой. Скромной, симпатичной, доброй, работающей, богатой двумя домами – своим и теткинским, – неплохое такое приданное для деревенского жителя. Ох, вы только не подумайте, что Володя – альфонс и на деревенскую недвижимость повелся. Нет-нет, он и сам при жилье, да еще и в райцентре. Володя просто жаждал знакомства, просто потому, что возраста он почти солидного (это сорок лет то есть), поджениться хочется. А тут девушку расхвалили со всех сторон. Отчего бы не познакомиться? Ждал на свадьбе – не пришла. А деревенская свадьба – это что? Столы на улице от еды гнутся-трещат, молочных поросят норовят с себя сбросить, гусей в яблоках да щук речных на землю сбросить. Умел бы говорить свадебно-деревенский стол, он бы выглянул из-под клееночки в мелкую ромашку и сказал бы хозяйке: «Эй, хозяйка, салаты эти брось на меня ставить! Больше не выдержу. Брось, не ставь!» Вот так бы сказал. А хозяек тут много: мамушки-тетушки грудастые, разрумяненные от готовки, с полотенцами на круглых плечах, снуют туда-сюда, туда-сюда: от дома к столам на улице, от дома и печи к столам на улице. Тащат, тащат, тащат еду. Вдруг мамушка встанет посреди двора да как заревет: «Отдаю свою кровинушку да во чужо-ой до-ом!» Тетушки хлеба, самовары, закуски,

пироги побросают, понесутся к мамушке – утешать будут. Так станут говорить: «Да жить-то дочь твоя будет через два дома от тебя, чай каждый день в гости будет к тебе ходить». И успокоится мамушка. И вновь примутся тетушки столы нагружать яствами да самоварами. А потом – чу! гудит клаксон, по дороге шины шумят. «Едут! Едут!» – застрекочут тетушки. Полотенца побросают, передники скинут, волосы пригладят – и нарядные. Одна спохватится под самый конец, вернется в дом за караваем. Так и пойдут молодых встречать. А молодых и не пускают: бревном дорогу перегородили, откуп требуют. Жених, ну у нас это Генка, со смехом вручит вымогателям две бутылки водки и бревно для острастки пнет. Пропустят. Потом пир будет, тот, что горой. Гармони на всю округу песнь разнесут. Зеваки соберутся: кто на невесту посмотреть, кто надеясь за стол сесть, кто просто от скуки деревенской. Под вечер родственники-гости смешаются с зеваками, напьются все, уже не разберешь, кто сват, а кто мимо проходил. Что-то мы увлеклись свадьбой. К Володе вернемся. Он на свадьбе брата, как и полагается, напился, про знакомство забыл да от выпитого самогона в тот день (ночь) даже имя свое не помнил. Наутро, всклокоченный, пропахший запахами свадьбы и попойки, Володя решил уточнить: «А что там по невесте?» – «Дык, уже жена», – икнул вышедший из спальни молодых попить рассольчику Генка. «Да не про твою, – махнул рукой Володя. – Про мою, будущую. Обещались познакомиться, а не познакомили». – «А-а, так это мы скоро», – заверил его Генка. Почесал пузо, подтянул семейники, смело шагнул во двор. Володя потянулся за братом. И вот, значит, два красавца – один с гнездом волос на голове, в грязной рубахе, порванных штанах, второй – икающий, пузатый и в одних трусах – свататься отправились.

Зоя же, ну прям как в кино, им навстречу попала – в магазин за батоном шла. Торопливо мимо «женихов» прошагала, буркнула: «Пздрвля». Видать, Генке. «Слушай, а ты что на свадьбу не... – начал было выяснять тот, но его Володя в бок ткнул, мол, не отвлекайся от дела. – Зоя, я тут тебе жениха привез!» – провозгласил тогда Генка. Зоя встала, развернулась круто, смерила Володю взглядом. Все-все заметила: и всклокоченные волосы, и грязную рубашку, и рваные штаны на расстегнутом ремне, и заусенцы на ногтях, и царапину на лбу, и чернящие от танцев босиком пятки. И поморщилась еще, словно запах изо рта тоже почуяла. «Я с алкашами не якшаюсь. И

женихов мне таких не надо!» – сказала презрительно и направилась в сторону магазина. Нет! Ну вы подумайте! Не якшается она! И ладно бы сказала «с пьяницами», «с пьющими людьми», в конце концов, «с алкоголиками». Так нет же! Грубо так – с алкашами! Володю это все задело. Он к тому же по жизни не пьющий. Вот только так, иногда, по случаю-по поводу. А тут ого-го какой повод: свадьба брата как-никак. А она... Пигалица! Как и посмела! «Пф-фу, – сказал тогда Володя. – Тоже мне нашлась. Мне таких невест и не надо. Ты говорил, что симпатичная, а тут – ни кожи, ни рожи, и жопа с кулак». Отомщен. Зоя резко развернулась, в два шага оказалась рядом с Володей, крикнула ему прям в ухо: «Козел!» И ка-а-ак хлестнула его пощечиной. Щека Володи вмиг покраснела. Володя схватился за нее и замер от неожиданности и пощипывающей боли. В ушах от «козла» звенит. В себя пришел, только когда Зоя уже скрылась из виду. Генка тряс брата за плечо: «Эй-эй, ну ты как?» – «Огонь баба, – сказал Володя. – Но мне такой не надо, спасибо». Вот, собственно, и все сватовство. И сватовством-то не назовешь.

– М-да, – протянула Марья. – Глупо как вышло. И Володя после того к нам не ездит. И я так и не спросила у Зои, чего ж она на свадьбу-то не пришла.

– Разве имеет теперь значение? – спросил Генка.

Марья пожала плечами.

– Да и тогда не особо имело. – Она убрала кастрюлю с пельменями, покачала головой, увидев, что муж не все съел (а кто ж их будет есть остывшими?), кинула тарелки в раковину. И вдруг как нахмурилась. – Нет, все же что-то не ладно у Зои. Да, не подруги, тут ты прав. Да, жениха ей пытались как-то неправильно подсунуть. Бывает. Но я прям чую, что ей нужно помочь. Закрытые неделю ставни – это не шутки. Пойду к ней.

– Ой, да делай что хочешь, – вздохнул полуголодный Генка.

Марья к дому Зои отчего-то на цыпочках подходила. Словно таилась. Да и цыпочки тут не нужны. Трава вокруг дома мягкая, давно не кошена. Странно как. Обычно Зоя двор в порядке держит. Ставни закрыты, а из дома шум доносится. Точно! Кто-то есть. И шума столько, сколько одна Зоя не сможет произвести. Или это только домыслы? Мало ли чем она там занимается, что столько звуков сразу. Может, телевизор смотрит? Постучать или... Подслушать. Сильное

желание подслушать. Разузнать, в чем же дело. Разведать. Человек больным сказался, а по звукам скачет по дому, аки конь. Ближе к окошку, еще ближе, еще. Еще. Слышит, Зоя Ильинична поет:

– Заинька серенький, зайнька беленький. Некуда зайчику выскочить, некуда бедному выпрыгнуть. Есть города турецкие, замочки немецкие. Ну-ка, зайка, боком-боком перед нашим хороводом. Ну-ка, зайка, повернись, кого любишь, поклонись. – Песенка из детской игры. В большой хоровод девчонками вставали (мальчишки отказывались в такое играть), «зайчиком» водящего называли (водящую, получается). Той нужно было попытаться проскочить через хоровод, пока песенка поется. Никому не удавалось. Поэтому назначали другую «зайку». Для этого прежняя кланялась кому-нибудь из хоровода. А потом ей пели: «Больше не балуйся! Лучше поцелуйся!»

И эту детскую песенку пела Ильинична. Совсем из ума выжила? Говорит, заболела, а сама по дому скачет, детские песни поет и с кем-то невидимым лобызается.

Может, действительно в домового уверовала? Может, думает, что с ним дружбу-игры развела? Ой, жалко Зою, жалко. Под старость-то лет кукушкой отъехать. Еще и одинокая. Как же она теперь со своим сумасшествием выживет? Говорят, что такие могут забыть поесть, так и помирают с голоду. Ужас-то какой!

– Больше не балуйся! Лучше поцелуйся! – пропела вновь скрипуче-противно Зоя.

И тут чей-то тоненький голосок ответил:

– Никотю.

Марья подпрыгнула от неожиданности и испуга, заметалась под закрытыми окнами, не зная, что и предпринять. За сердце схватилась и бегом к себе домой. Что это было? Что? Кто?

Глава 14

– НИ-КО-ТЮУ-у-у-у! – надрывался Купринька посреди комнаты. Баба Зоя склонилась над ним, словно коршун над добычей.

– А я сказала, надо! Ребенок ты или нет? Давай играй! Заинька серенький, зайнька беленький. Ну, что стоишь, как пень? Пляши, Купринюшка, пляши! Веселое сердце лечит, а ежели унывать, то злой дух кости все посушит^[12].

Вчера убрала она злосчастную цепь – уж больно сильно кровоточила шея мальчика, устала вытирать да футболки-рубашки выкидывать. Кровь, конечно, легко водою холодной выводится, да только нет времени на стирки бесконечные. Тут перевоспитательный процесс, знаете ли. Его нельзя прерывать. Теперь цепь висела под красным углом: напоминание о том, что Купринька терпел, как некогда сам Иисус. Вот только Иисус-то к тому моменту тридцать три года на свете пробыл, а Купринька всего ничего. Хоть никто толком и не знает, сколько точно, но определенно не тридцать три. С отменой цепи баба Зоя решила, что Купринька не очень-то похож на обычного ребенка, а все потому (это она вот тоже только сейчас решила), что тот не играет. Все же нормальные дети играют.

Надумала баба Зоя этот момент исправить. Да и настроенница поднять в доме, а то как-то темно и грустно, что ли, стало. Это все закрытые ставни виной. Точно они! Перебрав в уме с десяток игр, остановилась на вот этой вот, про зайньку. Это ничего, что она хороводная, переделать несложно. Поначалу думала играть во что попроще, навроде прятки или жмурок, да то игры опасные. В прятках Купринька может затаиться так, что никогда больше его баба Зоя не найдет. В жмурках же, закрой глаза платком, а мальчишка тут же за дверь сиганет. Так что прятки и жмурки отмелись. С «зайнькой» так придумала: Купринька должен кругами посередь комнаты ходить, время от времени пытаться бежать, то в одну, то в другую сторону прорываться, а там его сама баба Зоя будет со смехом перехватывать. На словах «больше не балуйся, лучше поцелуйся» Купринька должен подойти к бабе Зое, поклониться ей и обнять крепко. Вот, собственно, и вся игра. А чем плоха? Тут тебе и песня, и танец, и интрига какая-

никакая: изловит баба Зоя Куприньку или нет (правильный ответ – изловит). На деле же все совсем не весело вышло. Купринька встал посреди комнаты, пригвоздился к полу, насупился, что баран, и ни в какую играть не хочет. Орет вот это свое: «Никотю!» Так бы и треснуть! Видали такого? Отказывается веселиться! Вот же паршивец мелкий. Принялась тогда баба Зоя сама кругами ходить, пританцовывать, припевать: «Заинька серенький, зайка беленький. Некуда зайчику выскочить, некуда бедному выпрыгнуть. Есть города турецкие, замочки немецкие. Ну-ка, зайка, боком-боком перед нашим хороводом. Ну-ка, зайка, повернись, кого любишь, поклонись». Вопреки ожиданиям танцы бабы Зои не развеселили Куприньку, не заставили его самого притопывать ножками да прихлопывать ручками, заливаясь смехом. Не-е-ет. Он поднял на бабу Зою полные ужаса и смятения глаза. «Что ты творишь?» – словно бы спрашивали они. Это не игра. Это не веселье. Это ритуальный танец безумной старухи. Это не комната, а языческий храм. Это не пол, а жертвенный алтарь, на который водружен сейчас несчастный Купринька. И поет баба Зоя не про зайку, а поет она вот что: «Жертва моя, некуда тебе выскочить-выпрыгнуть, некуда деться от меня. Много всего есть в мире, но не для тебя. Давай-ка покажи мне себя, да со всех сторон. Полюбуюсь своей жертвой, прежде чем сожрать ее. Кланяйся мне, кланяйся, мне будет приятно думать, что ты любил меня, перед тем как умереть».

И в Купринькиных глазах становится баба Зоя выше, толще, страшнее. И вырастают у нее огромные клыки, и разверзается пасть, и открывается пасть, и вот-вот пропадет в ней Купринька. Тяжелые-тяжелые шаги в свинцовых сапогах, все ближе-ближе-ближе. ХВАТЬ – схватит. ХАМ – съест. Останутся от Куприньки лишь... ничего не останется.

Купринька съеживается. Вот бы так съежиться до песчинки, чтобы никто не увидел, никто не нашел. Клыкастое хватает Куприньку, сжимает крепко, сдавливая – еще крепче, душит-душит. «Боженька, пусть оно мне быстрее голову откусит. Больше не могу терпеть. Больно», – молится Купринька. В глазах темнеет, дыхания не хватает. Чудовище хохочет: «Больше не балуйся! Лучше поцелуйся».

И смазывает Куприньку чем-то липким. Маслом, наверное. А голос у Чудовища бабы-Зоин. И смеется Чудовище, как баба Зоя.

«Боженька!» – мысленно кричит обессиленный мальчик. И тут Чудовище отпускает его. Баба Зоя разжимает объятия. «Ну вот! И ничего страшного! – Садится на кровать. – Весело же?» Ничуть. Но разве ей об этом скажешь? «Потом еще поиграем!» – «Никотю», – думает Купринька, но вслух уже не говорит.

Ежедневные игры бабы Зои – тяжкое испытание. Уж лучше бы на цепи держала! Вторая неделя с запертыми ставнями. С черствым хлебом. С экономией спичек. Без сахара. В магазин баба Зоя перестала ходить. Вторая неделя перевоспитания. Играли во многое. В «Съедобное-несъедобное», например. Баба Зоя завязывала Куприньке глаза шарфом, наказывала открыть рот, а сама туда совала ему всякое. Купринька должен был угадать, съедобное это или несъедобное, и все, что съедобным назвал, непременно съесть. Само слово «съедобное» Куприньке было не произнести, потому позволялось говорить коротко – «ням» или «не ням». Угадал: помидор, сахар (пока тот не закончился), соль, муку, соду, сливочное масло, мясо (сырое), морковь, соленый огурец, неочищенные семечки, лук (очищенный), головку чеснока (не очищенную), сушеный горох, уксус (всего лишь на кончике чайной ложки). Принял за съедобное: огарок свечи, лист от герани, кусок мыла. Остальное несъедобное узнал. А там всякое было: маленький резиновый мячик, колпачок от ручки, мочало, отрезанные ногти (часть Купринькиных, часть баб-Зоиных), скомканная туалетная бумага, дужка от очков, вакса для сапог, клей ПВА, охотничья дробь (откуда и взялась?), обрезки от валенок, катышки из карманов настиранного баб-Зоинового халата, катушка ниток, мертвая муха, старая помада.

Все это Купринька с отвращением повыплюнул, каждый раз говоря: «Бе. Не ням». Баба Зоя умирала со смеху. Уж до чего комично делал это Купринька. А уж как мыло-то, мыло-то как ел! Сначала за съедобное принял, начал жевать, понял – что-то не то, попытался было выплюнуть, но баба Зоя не дала: «Ошибся, жуй теперь. Проиграл так проиграл». Купринька жевал крошечный (к счастью) обмылок, икал, слезы градом катились из его глаз. А баба Зоя ухахатывалась: «Проиграл так проиграл! Проиграл так проиграл!» В тот вечер от ужина Купринька отказался. И от завтрака на следующий день тоже. Наелся так наелся. Играли еще в «Вышибала». Но Купринька правил не понял, убежать не стал, поэтому баба Зоя (а водящей она всегда

была) просто лупила по мальчику мячом, покуда не надоело, не наскучило. Игрушек у Куприньки не было. Не обзавелись как-то. Ну вот только мяч. И тот на дороге найденный. Может, и рыдал в тот день какой-то ребенок из-за утраты, да и бог с ним, нечего вещами разбрасываться. Будет впредь урок.

Вот и все, один только мяч у Куприньки и имелся. У самой баб Зои из детства ничего не осталось. А и было ли? Кажется, дядя строгал деревянных коников. Но все для других детей. Достался ли хоть один такой коник бабе Зое? Не упомнить.

Покупать игрушки тоже нельзя. Это ж странно: одинокая старушка, ни внуков, ни племянников, ни внучатых племянников, а покупает машинки, каталки, медведей плюшевых.

Кому? Заподозрили бы люди неладное сразу же. Можно бы легенду придумать, да вот какую? Что медведь нужен для интерьеру? Так каждый бы потом в дом ходил и пытался оценить, украсил ли хату медведь треклятый. Машинка нужна, чтоб землю для цветов перевозить? Смех, да и только.

Да и нужны ли ребенку игрушки? Не нужны ведь! Без них и фантазия лучше работает. Возьми, да и представь, что метла – это прекрасная принцесса, швабра – ее волшебный принц, а кочерга – злая мачеха. Любой кусок мыла одной силой мысли превратится в машинку. А коробка! Одна коробка чего только стоит! Это тебе и дом, и гараж, и печь, и доспехи, и телевизор, и батут (правда, на один раз), и сапоги-скороходы, и бункер, и танк. Ограничен ты лишь размерами коробки. Во как! Не нужны Куприньке игрушки! Ему фантазия нужна! Ему еще целый мир нужно научиться выдумывать.

После игр измотанный Купринька торопливо забирался к себе в шкаф и сидел там тихо-тихо, не шелохнувшись.

Баба Зоя думала: «Во как дите умаяла, спит крепким сном теперь. Надобно каждый день так. Глядишь, и сил на то, чтобы выйти из дома, у Куприньки не останется нисколечки». А Купринька не спал. Он действительно замирал в темноте своего шкафа, своей обители, своего защитного уголка, поджимал ноги к животу и сидел так, таращась в черноту. Боялся, что малейший шорох выдаст бабе Зое, что житель шкафа не спит, житель шкафа бодрствует, а значит, готов вновь играть. Он не любил играть. Он не хотел играть так. Это невесело. Это больно.

Это страшно. Не шевелиться, не выдать себя. Не дать начаться всему этому снова. Отдохнуть. Ведь с утра вновь начнутся эти проклятые «игры». Будь они неладны! Как хорошо было раньше: сидишь себе в шкафу, никого не трогаешь, тебя никто не трогает. Выходишь поесть под вечер. Вытерпеть только мытье с больной мочалкой да молитву. А это не так и сложно. Всего несколько раз зажмуриться. А теперь же хочется закрыть глаза и не открывать никогда, чтобы не видеть этого, не чувствовать. И самое печальное, что баба Зоя перестала отлучаться из дому и по ночам словно бы чутче спит. Никаких теперь вылазок, никаких любований солнцем. Вечная тьма наступила в их царстве. И как ее прогнать, никто не знает. «Бог! Большой или маленький, кто-нибудь из вас, кто ближе ко мне, сделайте так, чтобы баба Зоя разлюбила играть. А еще сделайте так, чтобы она ушла куда-нибудь хоть ненадолго. Сделаете? А то я больше так не могу».

Глава 15

Если попросить Куприньку рассказать о самом плохом дне, то в голове мальчика начнут мелькать все эти жуткие события последних недель, но рано или поздно среди них всплывет одно – невыносимое. Тот день начинался обычно: Купринька жался к дальней стенке шкафа, раны на шее саднили, ошейник лежал перед открытой дверкой, словно бы говоря: «Скоро-скоро я вновь сяду тебе на шею». И даже будто бы цепь довольно поддакивала: «Сядет-сядет». Купринька боялся шевельнуться, выдав тем самым свое бодрствование: чем дольше баба Зоя будет думать, что мальчик спит, тем дольше продлится его условный покой. Дышать тоже следовало в меру громко, неторопливо и глубоко – так, как обычно дышат спящие. Кто бы мог подумать, что это-то и разозлит бабу Зою. Ее всклокоченная голова, резко возникшая в дверном проеме, теперь снится Куприньке в бесконечных ночных кошмарах. Правда, там ее искривленный рот не начинает орать, а разевается все шире и шире и вот-вот засосет Куприньку. Жуть. Да и только. Не во сне же баба Зоя как завопит: «Обманывать меня удумал?» Купринька вздрогнул, попытался еще больше вжаться в стенку шкафа (вот бы тот взял и проглотил, вобрал в свою тонкую фанерку, спрятал и не вернул), но баба Зоя рывком выскребла мальчика наружу и швырнула на пол.

Купринька задел цепь, та звякнула, то ли негодуя, что ее тронули, то ли выражая готовность служить. Баб Зое, разумеется, служить – не Куприньке. Куприньку она могла только мучить. «Делаешь вид, что спишь, а сам? – бесновалась баба Зоя. – Обманщик! Постыдился бы! Перед иконами хотя бы постыдился бы! В чем еще ты меня обманываешь? В чем? Может, сбежать хочешь? И ведь не признаешься, что действительно этого хочешь». Баб Зоя еще много кричала про обман, про отсутствие стыда и веры. Но и пускай себе кричит. Крики – это не страшно. Крики можно стерпеть. Отключить мозг, потупить глаза, чтобы не догадалась, что не стыдно, не забывать их время от времени быстро поднимать и тут же опускать, чтобы не обвинили в том, что не слушаешь. «Ух, я тебя сейчас проучу! И раскаялся Господь, что создал человека на земле»^[13]. А это Купринька

услышал. А от этого Куприньке стало страшно. Никогда не знаешь, что выкинет баб Зоя в следующий раз. А она потащила Куприньку в хлев. Цепь осталась лежать на полу, это и радовало, и пугало одновременно. В хлеву сдернула баб Зоя с Куприньки одежды, прям одним рывком. В моменты гнева в маленькой старушке обнаруживалась недюжинная сила. Рядом с коровником стояла большущая железная бочка. Вода в ней круглый год была ледяной. Баба Зоя метнулась к бочке, зачерпнула из нее ведром воды, подтащила к Куприньке табуреточку, на которой обычно сидела во время дойки коровы, встала на табуреточку ту и опрокинула ведро на мальчика.

Бр-р, холодно. По тощенькому Купринькиному тельцу пробежал озноб. Купринька руками плечи обхватил, но баб Зоя прикрикнула: «Не сметь! Стой смирно! Руки по швам!» На дворе тепло, так что озноб быстро прошел и с руками по швам. Более того, появилась в теле такая легкость, энергия. Жаль, что последнюю некуда тратить. Сейчас бы по траве побегать, бабочек половить, поскакать жеребенком. Ух! А баба Зоя то заметила. Ну что Куприньке после ледяного душа не так уж и плохо. Сжала зубы, скрипнула вставной челюстью, глаза в щелочки, по щекам желваки ходят. Ринулась снова к бочке, еще одно ведро зачерпнула и вновь на Куприньку – с головы да до пяточек.

И опять озноб. На сей раз дольше не проходил, но все равно согрелся мальчик. Тут дело нехитрое – нужно расслабиться, обязательно – всеми мышцами, и разольется по телу блаженное тепло. Но вновь его прогонит баб Зоя ледяной водой. А потом еще раз. И еще. И еще. И еще. Уже устанут старые руки, уже застонет спина, но упорно продолжит баба Зоя таскать из бочки воду, проливать на Куприньку ведра, смотреть мальчику в глаза, искать в них льдинки, что складываются в слово «ВЕЧНОСТЬ». И так, пока не закончится вода в бочке. По счастью, та не бездонная. На последних ведрах тепло уже не возвращалось, и хотя баб Зоя таскала их все медленнее и медленнее, времени на то, чтобы согреться, не хватало. Казалось, что волосы Куприньки покрылись инеем, с головы по шее, прямо по болячкам, стекали холодные капли. Поначалу это даже успокаивало боль в шее, но с пятым или шестым ведром стало невыносимым. Облегчение ушло. Боль возросла. Кожа Куприньки покрылась большими пупырышками. Их называют гусиными, но вряд ли гуси так страдают, как сейчас мальчик. Кроме того, подобные пупырышки на гусиной

коже Купринька видел лишь тогда, когда сам гусь, обезглавленный, лежал общипанной тушкой на столе. Что лучше: мертвым или замерзшим? Ноги и руки свело, зубы стучали. Хотелось упасть, вот хотя бы в солому – та сулила желанное тепло. Но баба Зоя шипела: «Стой смирно». Кинув обессиленно последнее опустошенное ведро (то загудело, словно тоже застонав от усталости), баба Зоя отодвинула от Куприньки табуретку, водрузилась на нее и уставилась на мальчика. Смотрела пристально, изучала: насколько ему сейчас плохо. Холодно ли? Купринька чуть ли не падал, но едва его коленки начинали дрожать, готовясь опустить все тело на пол, баба Зоя приказывала: «Стоять. За то, что ты сделал, проклят ты пред скотиной!»^[14] Она наслаждалась. Результатом пытки (конечно, за пытку баб Зоя то не принимала – так, воспитательный процесс), страданиями Куприньки. Упивалась своей властью над беззащитным существом. Восхитительное зрелище. Купринька жалок. Куприньку не жалко. Смотрит баб Зоя на синие Купринькины губы, на косматую мокрую голову, на дрожащее тело. Тварь ли я дрожащая или право имею? Права не имеешь. Дрожишь. Значит, тварь. А в голову баб-Зоину мысли всякие лезут, не отмахнешься. Мол, а зачем все это затеяла, только бочку зря опустошила. А в другом ухе звенит: «Обманывал, обманывал, обман-обман-обман, так ему, так ему, обманщику, поделом, по-де-ло-о-ом».

Головой тряхнула баб Зоя, чтоб мысли прогнать, а те уходить и не собираются. Кружатся стайкой: заболает, зря-зря-зря, ничего, поучить надо было, так надо было цепью, так надо было плетью, заболает, зря, жалко, не жалея, отпустить, пусть стоит. Бросила от злости баб Зоя камнем в ведро, словно оно во всем виновато, словно оно Куприньку поливало, словно оно сейчас в голове путается, а не мысли. Тьфу, пропасть! А Купринька все дрожит-подергивается, губами синющими трясет, еле-еле себя держит. «Холодно, че ли?» – спросила баба Зоя. Подбородком еще так властно повела, мол, не выдумывай мне тут, не обманывай – я сама прекрасно вижу, что не особо тебе и холодно. Купринька же ответил стуком зубов. Ой, ну артист! Ну каков артист! Зубами, посмотрите-ка, стучит, словно отмороженный. «Ну, коль холодно, – с расстановкой произнесла баба Зоя, – будем тебя греть». Неужели спасение? Неужели избавление? Неужели суждено согреться? Но не так-то все просто с бабой Зоей. Сколько раз она быстро

отходила? Сколько раз она прощала негодного Куприньку? Сколько раз не доводила дела до конца? У-у, не счесть. А ведь это же польза. Это же не издевательство. Нет. Это же не что иное, как ВОС-ПИ-ТА-НИ-Е! Прерывать воспитательный процесс ни в коем случае нельзя, но раз уж так хочет Купринька согреться, будет ему сугрев. «Полезай в навозную кучу!» – скомандовала баба Зоя. Купринька уставился на нее, словно бы ушам своим не веря. – Ну? Кому говорят? В навозную. Кучу. Давай-давай, пошевеливайся. – Оцепеневший Купринька с трудом пошевелил правой рукой, после – левой рукой, дернул ногой и повалился навзничь. Оледенелые ноги не держали. – У, разлегси! Нашел, когда отдыхать! – разворчалась баба Зоя. – Коли тебе холодно... Холодно ли? – Купринька еле заметно кивнул. – Ну, так вот, – продолжила баба Зоя. – Коли тебе так холодно, ступай в навозную кучу. Она свеженькая, с утра накидала. В навозе тепло. Вот и согреешься. Все для тебя, Купринюшка. Все для тебя, родненький». Купринька с трудом поднялся, подтащил свое шатающееся замерзшее тело к навозной куче. Возле той кружили мухи, стоял тот неприятный, но всегда узнаваемый запах. Запах навоза, разумеется. Чего же еще. «Давай-давай, смелее!» – подгоняла мальчика баба Зоя. А потом подошла и толкнула его прямо в кучу. Ослабевший Купринька упал, выставив перед собой руки, но это не помогло: те увязли по локти в навозе. Хорошо, удалось в последний момент отвернуть лицо: вымарались только щека да ухо, носом было бы упасть куда неприятнее. Куприньке стало дурно. «Да поглубже, поглубже заходи, – командовала баба Зоя. – Там, где поглубже, там потеплее. Сверху-то успело под-остыть, а там еще тепленько должно быть. Живо согреешься». Знаток навозной теплоты. А вам какую теплоту дарили в детстве? Купринька хотел заткнуть нос, да руки все в навозе – только хуже сделаешь.

Несмело, нехотя шагнул вперед, а баба Зоя все подгоняет: «Еще. Еще. Еще. Глубже. Глубже. Глубже». Еще шаг. Куприньку замутило. Еще чуть-чуть и вытошнит. Интересно, теплым ли? Вдруг тоже хорошо «для сугреву»? Еще шаг. Вот он почти посреди навозной кучи. Медленно опускается под тяжестью тела в самую ее глубь. Уже и плечи покрыты навозом. Еще немного – и навоз достигнет все же Купринькиного носа. Но, к счастью, куча оказывается не глубже, чем до подбородка. И стоит признать, в ней действительно тепло. Озноб совсем прошел. Да и до озноба ли, когда такая тошнота? Нет, не о

таким тепле мечтается. «Сё», – решил сказать Купринька. Это означало что-то вроде «все, я согрелся». Он надеялся, что баба Зоя его отпустит. Но не тут-то было. Баба Зоя передвинула свою табуреточку поближе и вновь усталилась на Куприньку, на сей раз торчащего посреди шикарной навозной кучи. Красота. Навозный запах несколько не смущал бабу Зою: она деревенская, она к таким ароматам давно привыкшая. Да и потом, всякий запах можно потерпеть ради такого-то зрелища: Купринька, обездвиженный коровьим говном. Просто прелесть, хоть картины пиши. «Хатит!» – молил Купринька. Но баба Зоя была непреклонна. Она хмурила брови, махала рукой, чтоб Купринька замолк, иначе (это было понятно по баб-Зоиному виду) придумает испытание похуже. Хуже есть куда? Так продолжалось полчаса, ставшие для Куприньки бесконечными. Он бы еще дольше стоял, согревался в навозной куче, если бы его не вырвало. Три раза. Только на третий баба Зоя решила, что довольно. Бог любит троицу. Только вот беда: вся вода из бочки повыкачана, Куприньку омыть нечем. А в навозе в дом нельзя, все перепачкается. Пришлось бабе Зое бегать к колодцу. Ох и страшно оставлять Куприньку без присмотра, хоть и до колодца да обратно меньше минуты. Но мальчик до того обессилел, что даже если бы и хотел, сбежать не смог.

Устало опустился навозный Купринька на пол, уронил голову на грудь и закрыл глаза. Казалось, что сил нет даже дышать. Первое ведро колодезной воды привело Куприньку в сознание. Вода студеная, даже ледянее той, что из бочки. Неужели мучения начались заново? Но, к счастью, отмыть навоз хватило четырех ведер и продолжительных растираний. Последние не позволили повторно заоченеть. Дома отпоила баб Зоя Куприньку горячим сладким чаем. Так бы сразу. Лучше, чем навозом. А потом еще раз промыла, теперь уже в тазу, в горячей воде и с ненавистной мочалкой. Вот только полностью навозный запах из Купринькиного тела вывести так и не удалось. Вот, пожалуй, худший Купринькин день. Вот он.

Глава 16

И был кошмар. И не было ему ни конца, ни края. Снилось бабе Зое, что Купринька вновь бежал. Выскочил из дома, рванул к дороге. А сразу за дорогой пшеница растет. Вместо колосьев – отрезанные девичьи косы. Стебли выше головы поднимаются, шагнешь в них – принимаются бить, бока колотить, обрушиваются на голову. Не отмахнешься. Пытается баба Зоя кликнуть Куприньку, да не может: в горле пустыня, голос не идет. Видит только: мелькает его лохматая макушка, убегает от нее мальчик все дальше и дальше, дальше и дальше. А потом раз – вместо поля лед. Огромный, бескрайний, прозрачный, как на Байкале в марте. И где-то там, на самой его кромке, крошечное пятнышко – Купринька.

Баба Зоя на лед ступает и тут же перестает быть хозяйкой своим ногам: те несут ее, куда придется. Силою мысли пытается баба Зоя заставить их нестись быстрее да прямее, иначе никак им не настигнуть Куприньку, но ничего не выходит-не получается. Непокорные ноги сами задают темп и направление. Смотрит на них баба Зоя и видит подо льдом рыб огромных, лупоглазых, неизведанных. Рыбы липнут толстыми губами ко льду, словно о помощи просят. Потом вдруг расплываются в разные стороны в испуге, и вместо рыб тарашится из-под льда на бабу Зою Анна. Вся опухла-отекла, вместо волос – тина зеленая, тело синее, замерзшее, от воды раздувшееся. Вместо живота, там, где его багром проткнули, – чернота. Лишь глаза прежние, Аннины, только чуточку злее обычного.

Анна рот, что рыба, разевает, звука нет, но баба Зоя ее словно понимает. Говорит ей Анна: «Отдай моего сына. Отдай моего Куприньку». И бьет кулаком по льду. Проклятые баб-Зоины ноги примерзли, не движутся, не слушаются. Не убежать. Приходится смотреть на злобную Анну, впериться взглядом в ее черный живот, наблюдать, как она колошматит кулаком лед. Тыщ – удар. Тыщ – второй. Тыщ – третий. Побежали мелкие трещинки. Еще немного, и лед проломится, уронит бабу Зою в холодные объятия Анны. «Отдай мне Куприньку!» – беснуется утопленница. «Не отдам!» – кричит ей баба Зоя. Глаза зажмуривает и оказывается возле дома своего. И

Купринька там же. По дороге скачет, морды корчит и говорит так четко, как не может на самом деле, еще и басом чужеродным: «Я к людям пойду. Не нужна ты мне больше». Баба Зоя одним прыжком возле Куприньки очутилась, схватила его с охапку и потащила. Только отчего-то подальше от дома. Оглянулась, а избы-то и нету боле, пропала враз. А вокруг все кустами поросло. Несет Куприньку баба Зоя, а он верещит: «Неси меня, Лиса, за синие леса, за глубокие горы, за высокие реки. Кот и воробей, помогите мне!» – «Какой еще воробей?» – думает баба Зоя. Смотрит – и впрямь воробьев много. Скачут вокруг, пройти не дают. Птицы – к смерти. Шугануть их, прогнать, обмануть смерть. Не получается. Встала баба Зоя посередине дороги, не знает, что делать дальше. А Купринька ей и говорит: «Только не бросай меня в шиповника куст». И перед ними действительно появился огромный-преогромный куст шиповника. «Только не бросай меня в шиповника куст», – повторил Купринька. Баба Зоя взяла и бросила. И пропал Купринька. Навсегда. Только смех его басовитый из шиповника слышен: «Буду-буду-буду-буду-буду теперь тут жить. Не увидишь никогда ты меня, злая баба Зоя». Баба Зоя шагает в куст шиповника, хочет достать негодника. Шиповник больно колется, раздирает кожу... баба Зоя просыпается. Кошмары, кошмары, кошмары. Сплошные кошмары всю ночь, все ночи. Крутятся, крутятся заезженной киноплёнкой. Потеет баба Зоя, разевает рот в попытках раскричаться, выдает сиплость просохшего горла, не может проснуться, не может от морока избавиться.

Прости мя, Господи. Прости и отпусти.

Озарилась и снизошла вдруг. Выпустила Куприньку из шкафа баба Зоя. Сказала: «Со мной теперь спать будешь. И сказал Господь Бог: не надо бы быть человеку одному»^[15]. Вот, казалось бы, радость великая: дослужился до постели, до мягкой перины, до пуховых подушек. Больше никакого замкнутого (хоть и, в общем-то, ставшего родным, защитным) пространства, ноги не отекут от полусогнутости.

Купринька давно уж вырос за пределы шкафа, спал буквой «З», колени у ушей. Тело ныло, конечно, но к тому привык уже. А тут, казалось бы, кровать широкая, одеяло ватное – лепота.

Да вот только привязала баба Зоя Куприньку за руки да за ноги к изголовью да к изножью, словно распяла на прокрустовом ложе, скоро тянуть начнет недорослика своего.

Сон к распятому нейдет. Шевелить только головой возможно. Ремни, которыми привязан к кровати, больно натирают конечности. Баба Зоя стянула их так крепко, что впились они в руки, в ноги, а те засинели в ответ. Под одеялом ватным жарко, пот ручьями льется, а одеяло не откинешь.

Попытался было Купринька сбросить телом, зашевелился, пузо приподнял, надул, но тут его баба Зоя шлеп ладонью сверху, как муху назойливую, шепчет сонливо: «Угомонись. Спать мешаешь». А сама храпит, будто трактор завелся. Где тут уснешь? Уж лучше бы в шкафу с коленями у ушей дремать. Подушка пуховая непривычная, голову обнимает, а ведь только головою Купринька и может нормально шевелить, так, чтобы без боли. Но подушка его ограничивает, только повернешься, в нос утыкается, будто намеревается придушить. Матрас поскрипывает, выдает даже малейшее движение, даже глубокий вздох. Старый матрас, бывалый, бабе Зое верный, не позволит даже попытаться вырваться, освободить руки-ноги.

А баба Зоя спит, похрапывает, постанывает. И кошмары все при ней же. То ли сон, то ли явь, но видит баба Зоя, как у Куприньки над головою вырастает нимб, как падают с рук и ног оковы ремней, как подымается Купринькино тельце над кроватью и летит ввысь. Выше потолка, выше крыши – проходит сквозь. Улетает Купринька в космос, к звездам, а за ними – к Богу. И не может остановить его баба Зоя, потому что Бог сам Куприньку призвал. Святым сделал. Великомучеником. Но вдруг оскаливается Купринька оттуда, из космоса, зубы такие острые, мелкие. И смех тоже мелкий раздается – это Купринька над бабой Зоей смеется: «Что? Провел я тебя? Мне демоны помогли, обманули тебя светом, обманули нимбом. Не к Богу я лечу, а ко всем чертям! Буду теперь слоняться туда да сюда, а по ночам буду приходить тебя мучить». И вновь мелкий смех по всему космосу разлетается так, что звезды дрожат. Вскакивает баба Зоя, руки тянет к Куприньке, а руки у нее вытягиваются, растут-растут, пока до неба не дорастают. Врешь! Не уйдешь! Куда угодно за тобой дотянусь. Достану! Достану. Руки вдруг обвисают плетьюми. Падают на Землю. Разбивают два дома. Купринька мелко смеется.

Вскакивает баба Зоя снова. В доме темно. Сквозь потолок больше не виден космос. А Купринька – вон он, привязанный, лежит, как и положено, где и привязано. Глаза черные в темноту вперил. Не спит, значит. Бдит, значит. Думает, как сбежать, значит. В ушах звон стоит от смеха того, космического-демонического Куприньки. Головой потрясти надобно, чтобы остатки кошмара от себя отогнать. И попытаться вновь уснуть. Перекреститься, чтобы уберечь себя от новых кошмаров.

На другую ночь привязала баба Зоя Купринькину правую ногу к своей левой. Это чтобы наверняка. Перевязала веревкой – уж что нашлось, все ремни в доме на Купринькины руки-ноги ушли. Нога посреди ночи зачесалась, зазудела, затребовала сбросить с себя ненужные оковы. Спать не дала. Вот и лежали, смотрели в темноту Купринька и баба Зоя. Тяжелые ночи настали. Бессонные. Можно бы днем наверстать, да тоже боязно глаз сомкнуть. Куприньке – от того, что наказать за такое могут. Бабе Зое – от того, что усни, так сразу сбежит от нее Купринька.

День на четвертый оба сдались. Сразу после обеда. Свалились прямо на пол. Прямо у обеденного стола. А что? Дома-то все еще ставни закрыты, все еще сумрак. Тут что день, что ночь – все одно.

Купринька упал, как упалось. Сонная же баба Зоя сумела налечь на мальчика сверху. Обездвижить обездвиженное, так сказать. Не дай Бог (слышишь, ты, из Красного угла?), Купринька проснется раньше бабы Зои. Не дай Бог, встанет на ноги. Не дай Бог, выйдет на улицу. А там уже любое его действие – не дай-то Бог. Зажатому телом бабы Зои Куприньке мало воздуха, дышать тяжело, хочется вырваться, выползти, но сон сильнее. Да и не так уж больно, признаться. Ремни на руках и ногах куда невыносимее. Куча мала и стара. Спят. Куча воздымается легкими бабы Зои. Храпит. Сипит. Свистит. Спит. Крепко. Проснулись оба. Вместе. Резко. Словно кто-то хлопнул в ладоши, да так громко, что хлопком своим обоих разбудил. Хлоп! Подъем! Вот прям в один миг глаза раскрыли. Купринька подергался недовольно: отпусти, мол, слезай, мол, будет. Баба Зоя неторопливо встала. Купринька остался лежать. Каждая косточка его тщедушного тела ныла. По нему словно огромной скалкой прошлись, пытаясь выкатать пельменное тесто. Голова не поворачивалась. Ноги-руки (настрадавшиеся и без того) не слушались. Болело все.

– Подъем! – скомандовала баба Зоя, потягиваясь. – Чего разлегсито? Поспали и будет. Нашел где валяться. Пойдем-ка помолимся.

Купринька буквально приполз под иконы. Лежал перед ними покоренный. Шевелил губами, делал вид, что молится. Падать ниц не пришлось, кланяться не пришлось – он и так уже по полу распластанный, размазанный, разбитый. Куда еще боле?

– О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом твоим мое чадо Куприньку. Укрой его ризою твоего материнства, соблюди в страхе Божиим и в послушании, умоли Господа моего и Сына Твоего, пусть дарует ему полезное ко спасению. Матерь Божия, введи меня во образ твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чада моего Куприньки, моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

Баба Зоя трижды крестится, низко трижды кланяется. Купринька лежит на полу.

Глава 17

Из города Елена и Слава вернулись мрачные. Елена сразу же направилась на кухню и принялась греметь там тарелками. Перегрехотать мысли. Слава уселся на свою любимую табуретку, неторопливо снял ботинки – парадно-выходные, лаковые, поджимающие мизинцы так, что те потом долго ноют и краснеют. Хорошо, если мозолями не пойдут. Принялся туфли натирать тряпочкой, первой, что под руку попалась: нужно привести парадно-выходные в порядок, отчистить грязь и убрать обратно в коробку. До следующего парадно-выходного дня.

– Может, ну его? – крикнул Слава в гремящую тарелками и прибавившимися к ним кастрюлями кухню.

– Ты что-то сказал? – спросила Елена, появившись в дверном проеме. Она раскраснелась, словно только что из бани. Парадная прическа ее сбилась, нависла растрепанными кудрями над левым глазом. От бордовой помады осталась лишь каемка, от чего губы казались болезненно-обветренными. Тушь размазалась до середины щек так, что не поймешь: плакала Елена или просто позабылась да глаза потеряла.

– Я говорю, может, ну его? – повторил Слава уже спокойно, тихо и даже чуточку неуверенно. – Мы ж всего раз попробовали, – строго ответила Елена. – А ты уже сдался?

– Да просто все это долго, муторно как-то, – пробормотал Слава. – Школу эту родителей пройди, экзамен сдай, разрешение получи, документы собери. Неужели нельзя просто прийти и взять одинокого ребенка? Ему нужны родители. Нам нужен ребенок. К чему все эти сложности? Школа эта родителей дурацкая. Мы же и так родители, чему нам тут учиться? Зачем?

– Мы с тобой плохие родители, – сухо заметила Елена. – Единственную дочь не уберегли. Значит, есть чему учиться.

Слава хмуро глянул на жену: проехала опять по больному.

– Но неужели ты не согласна, что все это сложно, долго, – все же не успокаивался он.

– Ты передумал? – опутив глаза, спросила Елена. На мужа боялась взглянуть, боялась прочесть на его лице: «Да, передумал». Потому как, даже если бы он ее начал убеждать сейчас в том, что он все еще готов удочерить какую-нибудь смешную девочку с большущими бантиками, а глаза говорили бы обратное, дело можно было считать решенным. Дело можно было считать закрытым. Но что таить, все действительно складывалось не так, как они себе напредставляли: что приедут в детский дом, выберут себе ту самую, к которой сердце потянется, пальцем в нее ткнут и домой увезут. И дело вовсе не в школе приемных родителей, это не особо и беда, это можно пройти, постараться для будущего родительского счастья. Директриса, важная, видно – властная, женщина, с полной грудью, несущей на себе жемчуга, предложила Елене со Славой посмотреть детей. Сделала она это словно бы неохотно, но ей тоже нужно соблюсти все эти предусыновительные обязанности. Слава с Еленой согласились. Зря, что ли, ехали. Их провели по мрачным коридорам, покрашенным самой отвратительной в мире зеленой краской, норовящей вот-вот отвалиться от стен. Похоже, она тоже стремится отсюда сбежать. Краске хорошо, она может себе позволить побег, она не ребенок, которому нужно дожидаться приемного родителя, с успехом отучившегося в школе.

Детский дом был до того мрачным, что Елене даже казалось, что она слышит крики и стоны, доносящиеся из-за закрытых дверей. Конечно, это всего лишь ее воображение. Впрочем, как знать.

– Вот. Актный зал, – сказала директриса, резко затормозив возле первых на их пути раскрытых дверей. – Тут сейчас у нас творческое занятие. Мы, знаете ли, занимаемся с детьми. Поем вот. – Директриса наполнила собой весь дверной проем, поэтому ничего не было видно, а из актового зала нестройно доносились тоненькие голоса: «Взвейтесь кострами синие ночи! Мы пионеры – дети рабочих. Близится эра новых богов. Клич пионеров: «Всегда будь готов!» – У нас патриотическое воспитание, знаете ли, – пояснила директриса, повернувшись полубоком. Тройной директрисин подбородок гордо дрожал.

«Какой-то неактуальный патриотизм», – подумал Слава. Но вслух ничего не сказал. Лишь кивнул, пусть директриса думает, что с ней во всем согласен. Вдруг именно от нее зависит, возьмут ли они себе

девочку. Детские голоса смолкли. Раздался взрослый, резкий, приказной: «А теперь мы с вами...» Владелец, вернее – владелица голоса представилась Славе сухой, высокой каланчой в старомодном жилете и седой не по возрасту головой, увенчанной вечным пучком. Возможно, с кичкой. Слова такого Слава не знал (все эти женские штучки!), но сам предмет прекрасно представлял – у его матери таковая сеточка имелась, таковая сеточка на голове носилась. Тут директриса чуть отодвинулась, и Слава увидел, что ошибся. Голосом владела маленькая, ни худая, ни полная, женщина, на голове – каре, и ни единого седого волоса. Да и одета не старомодно: белая блузка, черная юбка, совершенно обычные, вневременные. Такой женщине больше бы подошел тихий, спокойный и, пожалуй, немного бархатистый голос. Но пользовалась уж таким, какой есть. Впрочем, педагог не особо интересовал Славу. Дети. Дети где? Слава вытянул шею, чтобы лучше разглядеть воспитанников. Ни одной девочки с бантиками. Эх. Хотя, вот эта вот, в сарафане в клеточку, очень даже хорошенькая такая. Директриса поймала Славин взгляд.

– На эту даже не заглядывайте. У нее мать – алкоголичка.

– Так что ж? – спросила Елена, думая о том, что им совершенно без разницы, кем являются биологические родители их будущего ребенка.

– Так то ж, что мать ее напивается, ребенка изымают, направляют к нам, кто-нибудь берет над ней опеку, а потом объявляется мать, забирает к себе. И потом опять по кругу. Уже раз четвертый так к нам попадает. Жаль девчущку.

– Таковую мать нужно родительских прав лишить, чтобы не мучить ребенка, – хмуро заметил Слава.

– Нужно, – согласилась директриса. – Но это уже не наша забота. Наше дело принять, кровать дать и кормить пять раз в день. Чем и занимаемся. Что ж, вот другая девочка. Тоже располагает. Глаза большие, грустные. Ушки так мило топорщатся. Эту тоже нельзя, этой уже готовятся документы об опеке. Скоро заберут девчурку. У Вали тоже родители каждый раз объявляются. У Оли не объявляются, но какие-то сложности с документами. У Кати наркоманы. Себе не забирают, но едва девочка попадает в семью, заявляются туда и изводят приемных родителей. Конечно, это должно быть тайной, куда направляется ребенок из детского дома, но у нас же городок не особо

большой, узнать не так и сложно. Хотите, берите, но ждите частых гостей. А так девочка хорошая, спокойная, помогать любит вон. И так с каждым ребенком какие-то препятствия в удочерении. В усыновлении, кстати, тоже: и мальчиков заодно посмотрели. – Директриса плавно развернулась, полным пальцем поманила Славу и Елену обратно в свой кабинет. – Мой вам совет, – сказала, усаживаясь за массивный стол, поскрипывая кожаным креслом. – Поезжайте в другой регион. Там и детей побольше, чем у нас будет. Нас вообще расформировать хотят, так как воспитанников мало. – Задумалась и добавила минутой спустя: – Может, оно и хорошо, что мало. Какое ж это счастье в детском доме расти? Хотя, растут себе по неблагоприятным семьям, без любви, без ласки и порой даже без кровати, спят на полу... – Тут директриса прервалась. – Так вот. Лучше в другом городе. Там и сумасшедшие родители потом вас не будут доставать. Какой алкаш поедет в другой город? Да и не узнают, где их ребенок. Ну и выбор, как я уже сказала, больше. Или, знаете, в дом малютки обратитесь. Там отказников много. За такими родители редко возвращаются, редко по приемным семьям ищут. И у детей нет особо воспоминаний.

Елена и Слава скромно жались у двери, выслушивая предложения директрисы, не зная, пройти и сесть за стол или остаться на месте. Директриса бросила на них оценивающий взгляд.

– Впрочем, вы уже в возрасте. Нужен ли вам малютка? Бессонные эти ночи. Опять же, там по генетике непонятно у этих детей совсем. Возьмешь такого, а потом окажется, что у него ДЦП или там аутизм, прости Господи. Мучайся потом, реабилитируй, социализируй. Так что тут, конечно, подумайте. Я вам сначала посоветовала, но в итоге все же не советую. – Елена со Славой одновременно кивнули: как-то же надо поддерживать диалог. Директриса, понимая, что нужно эту встречу заканчивать, подытожила: – Ну, если что, на связи. Если кто новенький появится, я вам позвоню. – И как после этого мрачными не быть? И как после этого руки не опустить?

– Вот она же сказала: мы возрастные, – рассуждал Слава. – А пока эту школу дурацкую проходим, вообще в стариков превратимся. Мы уже не родителями будем, а бабушкой и дедушкой.

Вдруг Елена как разрыдается, как бросится на кровать.

– Никогда! Никогда нам не быть ни бабушкой, ни дедушкой! Не от кого нам внуков ждать! Ни родной дочери, ни приемной. Никакой. Не дано нам быть родителями.

Слава осторожно присел на краешек кровати, погладил жену по спине.

– Ну-ну, будет тебе. Прости уж меня. Я сам расстроен просто, вот и болтаю, что ни попадя. Прости, больше не буду. – Елена судорожно всхлипывала. Слава лег рядом, положил ладонь ей на голову.

– Успокаивайся. Мы что-нибудь придумаем. Обязательно. Вон директриса рекомендовала в другой регион съездить. Можем попробовать, да?

– Угу, – буркнула заплаканная Елена.

Глава 18

Зачем-то потребовалось дать название этому действию. Уж не припомнишь, кто сказал, что надо, – Генка или Анфискин муж Лёня. Они оба поначалу не отнеслись к происходящему всерьез, много шутили, посмеивались над женами, устроившими «Большой совет» (это из четырех-то человек!). На повестке дня: сошедшая с ума Зоя Ильинична; природа странных звуков, доносящихся из ее дома. Марья настаивала: то был детский голос. Она его четко слышала, вот как всех здесь присутствующих.

Нет, не ошибается. Нет, это был не телевизор. Нет, она не сошла с ума вслед за Ильиничной. Откуда ж тогда ребенок? Понятия не имеет, как и все здесь собравшиеся. Анфиска сразу восприняла слова Марьи серьезно, целиком и полностью поверив той (не то, что мужья, которые буквально крутили у висков, мол, бабы совсем свихнулись). Вот только, припомнив поход за земляникой, уточнила:

– Так, может, все же домовенок?

Марья фыркнула:

– Анфиск, ну ты же взрослая женщина! Ну, какой к черту домовенок?

Анфиска чуть обиделась, чуть надулась:

– В мире всякое бывает, ничего нельзя исключать.

– В том числе и слуховые галлюцинации, – прибавил Генка.

Марья отвесила ему хорошего такого тумака, чтоб впредь неповадно было над женой надсмехаться.

В итоге мужья сдались. В сумасшествие Зои Ильиничны не уверовали, в ребенка – тоже, в домового – тем более, но жен сопроводить согласились. Ну чтобы те дров не наломали. Действо обозвали «Крестовым походом». Отчего так – ни один объяснить не сможет. Кресты не несли, христианство тут тоже ни при чем, да и походом это можно назвать разве что очень условно. Скорее, просто к слову пришлось, единственное, что вспомнилось такого, звучного. Выдвинулись, значит. Марья с Анфиской – в предводителях. Смелые, бодрые, поначалу излишне шумные, но то от перевозбуждения. Мужья – в хвосте. Плетутся, сомневаются, но делают вид, что прикрывают

тылы. И на том, как говорится, спасибо. По мере приближения к Зоиному дому участники «похода» становились все тише. У самого участка и вовсе замолкли, на цыпочках начали ходить, словно в том был толк. Выстроились в ряд под окнами комнаты. Замерли. Слушают. В доме – тишина. Вот совсем ни звука, разве что часы тикают, но и то как-то еле-еле слышно сквозь окна и ставни. А, может, и не часы то, а фантазии разыгрались в надежде хоть какой-нибудь, хоть малейший звук ухватить. Тик-так, тик-так, тик-так. Не с этим ли звуком рушатся все планы-перехваты неведомо чего? Генка открыл было рот. Вероятно, хотел громко (не иначе) провозгласить жену свою (то бишь зачинщицу всего, Марью) выдумщицей Всея Всего и предложить отправиться им всем дружно восвояси. Но Марья предупредила его: рот мужа ловко ладонью накрыла, к своему палец прижала. Тс-с-с. Убедившись, что муж говорить (громко) передумал, убрала ладонь и двинулась в сторону пристройки к дому, той самой, в которой у Зои хлев находится. Показалось Марье, что слышит она звон подоюника да шум от бьющих в него струй молока. Трава вокруг Зоино дома все еще не скошена, не напороться бы на гадюку, они любят запустение, не задеть бы борщевик – нужно будет Зою все же пристыдить, развела тут во дворе бардак, скоро весь этот сор, борщевики да змеи, и на соседние участки переползут-перебросятся, а там и по всей деревне пойдут. Разве дело? Прорывается Марья сквозь заросли травы – та уж выше пояса – прислушивается: и впрямь звуки дойки доносятся, не почудилось.

Ай, хорош у Марьи слух! Генка, Лёня и Анфиска из-за крыльца выглядывают: а нам, мол, что делать? Марья им рукой машет: погодите, не ходите, стойте, где стоите. Сама шажочек за шажочком, медленно-медленно крадется, будто кошка, что на пичужку охотится.

Тут главное что? Не торопиться. Не выдать себя. Сделать бросок в нужное время.

Марья аж дышать перестала: так боялась, что выдаст себя. Приблизилась к воротам в пристройку, высмотрела в них крошечную щелку, прижалась к ней левым глазом.

В хлеву полумрачно. Видимость так себе. Но можно разглядеть большую дойную корову, мерно жующую сено. Возле коровы – силуэт. Присмотреться повнимательнее – Зоин силуэт, не иначе. Зоя доит корову, молоко уже не так шумно льется в ведро, уже не стучит по

железным стенкам. «Не дергайся ты!» – недовольно говорит Зоя. А корова-то и не дергается. Спокойная у Зои корова. Это все в деревне знают. Марья чувствует: тут что-то неладно. Она ошибаться не может. Вот бы чуть-чуть глаз скосить, слишком уж мала щелочка, плохо в нее видать.

Вдруг улавливает Марья движение слева от Ильиничны и коровы. Вглядывается, а там махонький такой человечек стоит, прикованный к столбу цепью. Точно-точно – человечек, не домовый – ребенок. Лет пяти-шести, с ходу не скажешь, сколько точно. Марья чуть не закричала от ужаса и удивления. Удивления, потому как кто ж знал, что у Зои ребенок живет. Ужаса от того, что ребенок этот на цепь посажен.

Сдержалась Марья, рот закрыла ладонью теперь уже себе. Несколько раз глубоко (но так, чтобы все же бесшумно) вдохнула-выдохнула. Оторвалась от двери, повернулась к компаньонам, вскинула руку с поднятым вверх указательным пальцем: идите по одному. Нужно все же доказать, особенно мужикам, что ей в тот раз не послышалось, что и впрямь ребенок говорил в Зоинем доме. Жалобное «никотю» все еще стояло в Марьиных ушах. Теперь еще эта цепь перед глазами.

Ох, не разрыдаться бы прям тут, прям сейчас, не испортить бы все своими громкими всхлипами. Гуськом-гуськом, по очереди, медленно, вся компания переместилась от крыльца к воротам пристройки.

Жестами Марья указала, что смотреть нужно в щелку и чуть левее. Первой пошла Анфиска. Прижалась к воротам, покрутилась, вызывая недовольство Марьи, призывающей к полной тишине. Потом замерла, отвалилась от щели, ровно так же, как и несколько минут назад Марья, зажала себе рот ладонью, глаза по пять рублей. Лёню легонько к воротам толкает: ты срочно должен это увидеть. Лёня тоже крутится, того и гляди всех выдаст, увалень этакий. Потом замирает. Отодвигается от щели, хмурит брови, на лице и шок, и недовольство, и непонимание одновременно. Лёня шагнул в траву, уступая место возле ворот Генке. Марьин муж вальяжно, словно бы нехотя, побрел к пристройке с таким видом, мол, ну и что вы там эдакого насмотрели, впечатлительные вы мои. В какой-то момент Генке даже показалось, что остальные его разыгрывают, что ничего там, за воротами, и не происходит. А он вот подойдет сейчас, прижмется к посеревшей от

времени древесине, а Лёня его в этот момент р-раз, и лещом по затылку, и гоготать начнет, и Марья с Анфиской ехидно захохочут: какой же ты, Геночка, дурак.

Этаким увальнем и подошел Генка к воротам, на Лёню взглянул, желая заранее понять: есть подвох или нет подвоха. Лёня не выражал ничего, вот как сразу нахмурился, так брови сдвинутыми и держал. Партизан, а Генка навалился на ворота всем своим могучим телом, мимо щелки промахнулся, плечом о доски гулко ударился. Выдал всех, одним словом (ну хорошо – двумя словами). Ворота, и без того старые да хлипкие, уныло заскрипели, затрещали и накренились. Образовался большой проем, сквозь который-то Генка и увидел, что никто его не обманывал: там и вправду творилось нечто невообразимое. Баба Зоя, в свою очередь, увидела Генку, а вместе с ним и всю компанию – Марью, Анфиску, вытянувшую, словно специально для лучшего обозрения, шею, и все еще нахмуренного Лёню. Увидел их и Купринька. Он бы тоже вытянулся в удивлении, как Анфиска, да вот ошейник помешал. Впился бы опять. Кровь бы опять. Больно бы опять. Не надо опять всего этого. Так что стоял Купринька смирно и тарасился на незваных гостей, пока баба Зоя не стащила с него резко ошейник, опрокинув в спешке ведро с молоком, пока не потащила его за руку в дом (того и гляди, в локте или в плече вывернет, так дергает). Ноги у Куприньки волочатся, не слушаются, баба Зоя из-за этого рычит, что зверь. Сказать что-то боится. Шок у нее.

Да и что сказать? Нужно как можно быстрее в дом проскочить, а этим любопытным потом сказать, что все им привиделось. Не было никого. Никаких мальчиков. Никаких ошейников. Никаких цепей. И самой бабы Зои тут не было, она корову еще два часа назад подоила.

Можно же так сказать? Можно. Отчего нет? А любопытствующие замерли. Смотрят. Молчат. Генка первый в себя пришел.

– Сто-о-о-ой! – как закричит. А потому что еще, что кричать? Только разве «стой». Ильинична же еще больше припустила. Путь от коровы до двери в дом так-то короток, да настил старый, бревенчатый, сначала на второй этаж забраться по щербатой лестнице надо, потом по подобию балкона пробежать. А там то солома набросана, то грабли валяются, то еще чего на пути возникнет. И все это как в замедленной съемке. А Купринька-то, Купринька рад гостям непрошеным, пялится на них без стеснения, улыбается, а потом и вовсе рукой стал махать.

Первые столь близкие (речь про расстояние) люди в его жизни, ну это после бабы Зои. Анфиска от неожиданности Куприньке в ответ махать стала, заулыбалась тоже. Лёня к воротам бросился, попытался совсем выломать, а Марья вдруг запричитала:

– Ой, Лёничка, ведь частная собственность. – Лёня же продолжил ломать ворота, а те, хоть и старые, не хотели поддаваться. Треск стоял на всю округу, но треском все и кончилось. Баба Зоя затолкала-таки Куприньку в дом, последние метра два чуть ли не волоком пришлось тащить – так он не хотел внутрь заходить, так он хотел еще «близкими» людьми полюбоваться. Дверь хлопнула, аж солома вздрогнула. Послышалось щелканье замков (их на самом деле всего два, но так сильно тряслись у Зои Ильиничны руки, что не могла попасть в них с первого раза, и со второго, и даже с третьего): «Щих-щих-щих-щих, не достанете. Чик-чик-чик-чик, не достанется».

Лёня бросил выламывать ворота. Отстояли старые хозяйку нерадивую, выдержали напор. Марья кинулась к крыльцу, подобрала по пути какую-то палку, принялась стучать по входной двери, по закрытым ставнями окнам:

– Зоя! А ну открывай! Открывай, кому говорят! – Ба-бах! Ба-бах! От палки сучья в разные стороны полетели. – Зоя! Давай поговорим! – Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах! – Зоя! – Ба-бах! А в доме тишина. Затаилась Зоя Ильинична. Затаила и мальчика. Генка подошел. Обнял жену за плечи, палку аккуратно из рук ее вызволил.

– Маш, помягче надо. Так ты ее еще больше запугаешь. Тут диалога нужно добиваться. – Постучал осторожно в окно на кухне: – Зоя Ильинична, мы же с добром к тебе. Открывай. Поговорим. Плохого не сделаем. – И еще разок постучался, словно в гости просился, баранки там принес или пирогов, а они стынут уже, а горячие вкуснее же, открывайте, хозяева. Но не верят хозяева в пироги. Заперлись. Замерли. Молчанием своим уйти просят. Подобрूपоздорову. Потолкались-потолкались Марья, Генка, Анфиска и Лёня под Зоиными окнами, постучались по очереди да ушли, оставили в покое. До поры до времени. Такое дело, разумеется, просто так не оставишь. А как оставишь – это покумекать надобно, пораскинуть мозгами, как лучше да как действеннее.

Глава 19

Вжавшись в самый темный угол в доме (это за шкафом Купринькиным), баба Зоя крепко обхватывала Куприньку обеими руками, не позволяя ему шевелиться. Время от времени она затыкала мальчику рот, хотя тот и не думал говорить-кричать-плакать (что еще?). Зоя Ильинична пыталась прокрутить в голове произошедшее, понять, как это случилось, где она ошиблась, почему ее мальчика, ее сына (?) обнаружили. После стольких-то лет.

Где она промахнулась? В какой момент все пошло не так?

Мысли путались, скакали одна через одну, а после путались и вязались в узлы. Сосредоточиться не удавалось. Страх сковал тело и не позволял думать трезво. Господи! Откуда ж тут взяться трезвости?

Баба Зоя прижала Куприньку к себе еще крепче, принялась мерно раскачиваться взад-вперед, пытаясь успокоиться, собраться и понять, что же теперь делать. Марья, Анфиска и их мужья топтались под окнами, что-то кричали, били в ставни. Каждый крик, каждый стук сжимал бабу Зою. Исчезнуть бы. Провалиться бы. Да и то достанут. Ба-бах! Прогрохотало по окну. «Зоя!» Зазвенело в ушах Марьиным голосом и застряло там. Ба-бах! И дом словно затрясся весь, зашумел, задвигался. Того и гляди расступится, выдаст Зою Ильиничну, кинет в руки незваным гостям Куприньку, лишь бы те отстали, лишь бы в его окна бить перестали. «Зоя!» Нет меня. Нет. Привиделось вам. Ставни закрыты – нет никого, померли все, например. Ба-бах! Уходите, проклятые! Никто вас не звал. Никто вас и не пустит. Хлеб-соль вам тут никто не поднесет. Ба-бах! Стра-а-ашно. Нервно. По телу Куприньки все еще бежали мурашки. Что-то в груди аж сводило от радости: люди! Он впервые видел людей так близко. Ну кого-то, кроме бабы Зои.

Разумеется, иногда он наблюдал за людьми из окна, они все шли куда-то по дороге, иногда ехали на велосипедах или машинах, пару раз – на лошадях, но все они были далеко от дома, так что казались больше не людьми, а насекомыми, муравьями там или жуками какими-нибудь. Ах да, еще как-то раз зимой пришли прям к дому, шумные такие, пели что-то вроде: «Коляда пришла! Отворяй ворота!» Баба Зоя

отправилась ворота отворять, ворчала еще: «Ишь, приперлись. Иш-шо не хватало мне этой коляды». Купринька слышал, как баба Зоя с крыльца на Коляду ругается, а Коляда смеется, шутит и не уходит, хотя им угрожают и метлой (поганой), и кочергой, и ушатом воды. И все-то у них стишками да песнями. В общем, не вытерпел Купринька, из шкафа вылез да в окно краешком глаза выглянул. А Коляда – это нечто странное, даже страшное, может, и за дело ее баба Зоя прогоняла. Не то люди, не то звери: в шкурах, рогатые, носатые, ушастые, зубастые. Так что Коляду хоть и видел Купринька ее близко-близко, но за людей не принимал. А в другие года Коляда не приходила к ним. По дороге мимо прокатывалась шумной поющей толпой и в двери бабы-Зоино дома больше не стучалась. А сейчас вот люди! Не звери. Не Коляда. Прямо в их доме! Не совсем, конечно, в доме, но почти здесь. И Купринька на сей раз не был заперт в шкафу, не было наказано ему сидеть, молчать, не шевелиться. Он не только слышал людей, но и видел. Вот как бабу Зою, вот как того из Зазеркалья. Ря-дом. Стучатся вон. Громко стучатся, чтобы точно услышали хозяева. Вот только баба Зоя им не открывает. И они совсем не страшные, люди эти. Отчего же тогда баба Зоя так ими Куприньку столько лет пугала? И отчего наказывала не встречаться с людьми, не показываться? Ничего же в них плохого. Куприньке представлялось, что люди к нему пришли полюбоваться им, познакомиться. Знали, что баба Зоя Куприньку от них спрячет, коли постучаться через крыльцо, вот с черного хода, через сарай, и полезли. Так сильно хотели с Купринькой повидаться. Никакого зла они не несли. Нет-нет. Вон одна тетенька улыбалась Куприньке так ласково, как никто и никогда ему не улыбался. Какое ж тут зло? Ушли. Ушли люди. Оставили Куприньку и бабу Зою. Им не открыли, вот и ушли они.

А баба Зоя начала причитать:

– Ой-ей-ей-ей-ей. Ой-ей-ей-ей-ей. Пропали мы, Купринюшка. Ой-ей-ей-ей-ей. И еще больше раскачиваться. – И еще крепче Куприньку к себе прижимать. – Молись, Купринюшка, молись, родненький. Только Богородица нам теперь и поможет. – И бормотать начала бессвязную молитву, коей раньше Купринька никогда не слышал. Молитва прерывалась нервными всхлипами, судорожными хватаниями воздуха и бесконечным «ой-ей-ей-ей».

Закончив молитву, совладав со всхлипами, вскочила баба Зоя, вытянула шею, словно пытаюсь разглядеть кого в темноте: а мало ли и сюда пробрались-забрались, нас не спросили. Сначала несмело, но быстро разошедшись, принялась сновать по дому, суетиться, скидывать в большую грудку вещи. Распахнула шкаф, повыкидывала из него всю одежду, два одеяла, подушку. Убежала в коридор, принесла оттуда сапоги да валенки, и их в кучу кинула. С кухни – две кружки, ковш железный, спички, соль, манку, пшенку, пачку макарон. В погреб спустилась, вытащила банку варенья да банку маринованных грибов. Вернулась на кухню, добавила к вещам две ложки и нож. Опять к шкафу – варежки на случай зимы не забыть. Села на кровать, подумала. Встала с кровати, скинула на пол к вещам покрывало. Тоже может пригодиться. Походила взад-вперед по комнате, раззанавесила Красный угол, посмотрела на содержимое хмуро, выудила Богородицу, отправила ее в грудку. Перед остальными жителями Угла перекрестилась, виновато поклонилась и закрыла занавесками обратно. Куча вещей все росла и росла, росла и росла. Перед ней появился чемодан, выглядевший маленьким и жалким, явно не готовым вместить в себя все это добро. Купринька в шкаф свой забрался, дверь прикрывать не стал. Сидит, ногами болтает, за суетой баб-Зоиной наблюдает да думает: кидать ли к вещам на полу свою подушку да овчинку, что одновременно и одеялом, и периной ему столько лет служила. Верой, как говорится, и правдой. Решил все же не вмешиваться в сборы-метания, вдруг там какой-то свой порядок, свои правила. А баба Зоя все бегала-бегала, наращивала-наращивала кучу. Затем рядом с ней прямо на пол ухнула, оценивающим взглядом на уже не скромный скарб поглядела, руками всплеснула:

– И куда же мы с таким добром попремси? Тут и налегке идтить некуда, а с такой кучищей вещей и подавно. Слышь, Купринька?

Купринька вздрогнул. Чего это о нем вдруг вспомнили? Хорошо же до этого было: со своими сборами позабыла про мальчика баба Зоя, оставила наконец в покое. За столько-то дней! Хоть выдохнуть удалось. А вот дух пока еще не до конца перевелся. Эх, еще бы минуточку покоя, еще бы часик, еще бы... Купринька сделал вид, что не слышит.

– Тебе говорю! – начинала злиться баба Зоя. – Как думаешь, утащим это все вдвоем али нет?

Купринька лениво вылез из шкафа, прошаркал до вороха вещей, обошел их по кругу, языком поцокал, словом, вел себя так, словно вот только что всю эту свалку заметил. Вынес вердикт:

– Не.

– Что ж, – покачала головой баба Зоя. И повторила: – Что ж. – Выдернула из кучи большой синий платок в красную клетку, теплый такой, не пуховый, но теплый, баба Зоя его обычно по зиме носит. Разложила рядом с кучей, расправила бережливо углы. Задумалась. – Самое необходимое надо брать. – В расправленный платок отправилась половина буханки черного хлеба, бутылка с водой, две пары теплых носков – баб-Зоины и Купринькины, одни рукавицы, трусы панталонами женские – две штуки, трусы детские – две штуки, кофта теплая, ложка, нож. И все. И не влезло ничего боле. – Вот так живешь себе живешь, копишь-копишь, покупаешь-покупаешь, а потом всю свою жизнь в узелок в один собираешь, – вздохнула баба Зоя. – Но лучше кусок сухого хлеба, чем дом с заколотой скотиной. Нет, там хлеб сухой и мирно что было...^[16] Ой, запуталась, забыла уж все. – Чемодан отпихнула за ненадобностью. Ну, чего с ним таскаться.

Чемодан аж обиделся будто, скрипнул старой кожей еле слышно да защелками клацнул. Клацай не клацай, а с собой тебя все равно не возьмут. Остатки вещей из кучи запихнула под кровать ногой: убирать-то лень, убирать-то дольше, чем в одну грудку на пол все без разборки скидывать. Вот она – ненужная прошлая жизнь, ногой сдвинутая. И для чего все это, спрашивается?

– Купринька! – крикнула баба Зоя, хотя мальчик вот он, рядом, никуда не делся. – Принеси-ка из чулана палку мою, с которой я в лес хожу. – Купринька дернулся было, но баб Зоя передумала: – Ай не, лучше сама схожу, а то ты к чулану, а сам за дверь. Убежишь от меня. Убежишь же? – Смотрит хмуро на Куприньку. Даже злобно. Купринька головой мотает, мол, не убегу я, куда мне бежать, зачем мне бежать. – Не верю, – произносит баба Зоя. Куприньку отталкивает и выходит за дверь. На всякий случай дверь на заслонку запирает. Это чтобы пока она в чулане возится, Купринька никуда не выскочил. Он может. Он все может! Купринька от толчка упал, локтем ушибся. Обидно. Больно, но боль вполне терпимая, не то что, скажем, от ошейника.

Никуда он не собирался бежать. И в мыслях не было. А теперь вот появилось. И вправду можно же к людям направиться. Например, к

тем самым, что сегодня приходили. Познакомиться поближе, посмотреть, какие они, будут ли еще Куприньке улыбаться. Эх, интересно как. Баба Зоя принесла в дом палку, гладкую-гладкую, аж блестящую после многих лет пользования. Завязала платок в узелок, прикрепила его к палке, вздохнула устало-довольно:

– Вот и собрались. – И добавила зачем-то: – Паломники.

Водрузившись на кровать (нежно похлопав матрас на прощание), принялась баба Зоя сказку сказывать (тоже, видать, на прощание):

– В одной стране, а это была самая обычная страна, но с самыми необычными людьми. Люди в этой стране были злые-презлые. Такие злючие, что могли и укусить даже. Ну, если ты им просто не понравился там. Так вот. В этой стране была королева. Ну, разумеется, куда же без нее. И, разумеется, тоже злая. Такая злая, что когда у нее родился сын, то есть принц, получается, она надумала, значит, его убить. Позвала слугу и говорит ему: «Отправляйся в лес и отдай этого мальчишку на съедение волкам». Слуга отнес мальчишку в лес, все как и надоть. Положил того, совсем еще маленького да беззащитного, на пень да как свистнет громко, чуть ли не на весь лес. Это чтоб волки побыстрее сбежались. Свистнул, значит, а сам деру дал. Это чтоб волки и его заодно не съели. Но на свист вместе с волками, значит, пришла и добрая волшебница. Она жила в лесной чаще, вдали от всех этих злых людей. Ну, потому что люди злые, а она добрая, им вместе не ужиться, понимаешь ли? Добрая волшебница, значит, решила спасти принца. Она схватила его в охапку, прижала к себе, а сама волшебной палочкой, ну с применением магии, принялась отгонять волков. Кой-как отбилась. Последний волк скрылся в темных елях. Скули-и-ил при этом аж на весь-то лес, что собака шелудивая какая. Принесла волшебница принца к себе в домик, накормила, напоила, спать уложила, хоть и не без труда. Так и стали жить-поживать, горя не ведать. Хорошо им вдвоем было, вот только очень переживала волшебница за принца: вдруг его найдет злая королева и отберет, и отдаст опять волкам на съедение, и иш-шо сделает так, чтоб волшебница не смогла на этот раз помочь. И вот как заслышит шорох какой или другой странный звук, а таких в лесу ого-го как много, так прячет принца в шкаф, наговаривает волшебное заклинание, чтоб никто его точно не нашел, не заметил, не забрал, не убил. Но однажды, через много лет, когда волшебница уже и не сильно волновалась из-за

всяких там звуков, королева прознала, неизвестно как, что принц все еще жив. Разозлилась королева, это ничего, что и так злая была – стала еще злее. Разозлилась, значит, и отправила самых страшных, самых злых своих слуг завершить начатое. А того, что не смог убить принца в первый раз, повесила. Или голову ему отрубила. Но это не так и важно. Четыре слуги несколько дней добирались до избушки волшебницы, рыскали по округе, вынюхивали, вызнавали.

О, а какие это страшные были слуги. С виду люди как люди, но внутри их творилось черт-те что. Первый слуга задушил уже пятьдесят детей. Собственными руками. Ни одного не пожалел. Второй слуга любил отрезать животным хвосты и уши, поэтому все псы и коты королевства бегали без хвостов и ушей. Жуть такая. Третий слуга работал палачом, он отрубал головы, а потом сажал их на колья и ставил вдоль забора, чтоб все в округе знали – тут живет палач. Четвертый слуга был разбойником, закончив службу во дворце, он выходил на темные дороги, грабил и убивал всех ехавших мимо, а награбленное выбрасывал потом в реку, потому что ему было важнее убивать, чем грабить. Вот таких жутких людей прислала королева за принцем. Они отыскивали домик волшебницы, окружили его и стали ломиться во все окна и двери. Пробовала применять свою магию волшебница, но ничего не помогало: так ужасны были нападавшие. Хуже волков, получается. И тогда она решила провалиться с принцем сквозь землю. Топнула волшебница ногой, топнула другой, взяла принца за руку – и пропали они оба. И больше их в тех краях не видали. А королева от злости позеленела, посинела, да и лопнула. Конец. – И прибавила: – У умного сердце подумает об этой притче, а ежели и ухо внимательно, то совсем мудрый^[17]. Слышишь меня?

Купринька смотрел на бабу Зою с непониманием, сказка ему не понравилась. А от описания слуг и вовсе мурашки по телу бежали, неприятные такие.

– Вот и нам нужно с тобой сквозь землю провалиться, Купринюшка. Вот и нам нужно, – пояснила баба Зоя.

Глава 20

Баба Зоя все еще сновала по дому... нет, пожалуй, не сновала. «Сновала» – это когда суетно, шаркая ногами, туда-сюда, туда-сюда. А баба Зоя уже не суетилась. Она, что муха, вдруг проснувшись посреди зимы, сонно передвигала ногами, не зная, к какому углу пристать, замирала, потом резко набирала ходу, хаотично перемещалась по дому и вновь замирала. Да, как зимняя муха. Разве что в стекла истерично не билась. Может, потому что окна закрыты шторами и ставнями? Как знать. Как знать. Купринька же сел возле Зеркала, забился, пусть и не в угол. Чувствовал – нечто грядет. И хотя все эти сумбурные сборы не были ему понятны, появилось смутное ощущение того, что в Доме он последний раз. Мальчик оглядел полумрачные комнатные Просторы, нахмурился на захламленное Подкроватье – оно Куприньке и в прежнем виде не нравилось, а теперь уж, со всем этим ворохом вещей, и подавно.

Вытянув шею, глянул на того, из Зазеркалья. Вихрастый выглядел испуганным и немножко удивленным. Он тоже не понимал, что здесь происходит, но, кажись, чувствовал, что вот-вот останется один-одинешенек; никто-то не будет больше показывать ему языки, здороваться при встрече, вытягивать ладонь.

Вихрастый заморгал часто-часто: еще немного, и расплчется. Купринька отвернулся от Зеркала, чтобы не видеть слез друга, но отчего-то и сам прослезился. Хотя ему было ничуть не жаль, если придется вдруг покинуть Дом. От этого места не осталось ни одного теплого воспоминания. Если они вообще когда-либо были.

Что вспоминать? Вечный полумрак? Постоянные ограничения? Побои? В Доме нет ни одного уголка, в котором Купринька бы чувствовал себя спокойно. Даже шкаф, и тот давно перестал быть его крепостью, его защитой. Последние недели баба Зоя бесцеремонно распахивала дверки, выволакивала Куприньку наружу, когда ей вздумается. Это раньше она уважала его место, не лезла, не заглядывала. А теперь какая же это крепость? Про остальные уголки и вовсе лучше не вспоминать. Взять тот же Подпол. Неделю назад баба Зоя заточила в него Куприньку, уж не упомнишь, за какую такую

провинность: то ли кашлять надумал, то ли за ухом почесал в ненужный момент. Заставила она стащить Куприньку носки и босого отправила в Подпол. В Подполе пол земляной, холодный, по нему мокрицы то и дело бегают, мальчишеских ног не замечают, на пальцы заползают. Фу, мерзкие! Ноги быстро замерзли, мокрицы быстро осточертели, принялся Купринька пританцовывать, с ноги на ногу перепрыгивать, чтобы не застудиться да чтобы прогнать Подпольную живность (фу, мерзость). Видать, расшумелся. Заскрипел замок. Показалась в Подпольном проеме баб-Зоина голова. «Это что еще за самодеятельность?» – прорычала голова. Купринька замер: знает, что после такого рыка следует наказание, да похлеще прежнего. А вот и оно! Не заставило себя долго ждать. Баба Зоя протянула в Подпол руку и приказала: «А ну, сымай майку. – Потом подумала немного, всего с полсекундочки, и добавила: – И штаны тоже. – И еще через секунду: – Труссы, так и быть, оставь пока». Пока. Обнадеживает. Купринька стал медленно стаскивать майку. Очень уж не хотелось с ней расставаться: в Подполе промозгло, сыро, неприятно. По телу врассыпную побежали мурашки – колючее напоминание о том, что раздеваться не стоило бы. Но разве бабу Зою переубедишь? У той самой рука уже подмерзла, поэтому бабушка начала подгонять Куприньку: «Ну, че там чешешься? Че чешешься? Забыл, как майку раздевать, что ли? Я вот тебя сейчас для скорости-то водой окачу, все вспомнишь, как миленький. Легче нести песок, соль и железо, а не человека»^[18]. – Купринька протянул ей майку. – Штаны! Штаны давай скорее! – Окоченелыми руками стянул Купринька штаны. Те хоть и были тоненькими, но маломальски согревали. Теперь же без штанов, носков и майки стало совсем холодно, аж зубы застучали, да так, что баба Зоя услышала. – Шо там? Зубами, что ли, стучишь, а? Ты мне это брось! Ты мне это не выдумывай! Зубами он вздумал стучать! На жалось мою давить! Неча тут давить на то, чего не имеем. Понял? – Схватила Купринькины вещи, хлопнула крышкой Подпола и пропала на несколько часов.

Потом, как всегда, наступало покаяние. Это когда баб Зоя вдруг спохватывалась, вдруг решала, что как-то неправильно она поступила, как-то не так, начинала причитать: «Батюшки родные, да что ж я наделала? Это ж надо! В холоде столько держать, голодом столько морить бедного моего Купринюшку. – Вытаскивала мальчика за руки из Подпола, принималась растирать его сухими морщинистыми

ладошками (толку-то?) и приговаривать: – Щас-щас-щас, щас-щас-щас, щас согреешься, щас чайку горяченького, да? – Шла на кухню за чаем, тут не обманывала, а по пути словно забывала, что это она Куприньку в Подпол посадила, это она его почти донага раздевать заставила, потому как возвращалась с кухни с чашкой чая и претензией: – И зачем ты только, дурья башка, в Подпол полез? И как тебе такое в голову-то пришло? Мысли человека – глубокая вода^[19]. Замерз, а мне вот теперь отогревай, а мне вот теперь отпаивай. «Мальчик не спорил, а то, не дай Бог (ты слышишь там, из-за занавески?), опять разгневает бабушку. Купринька после того раза заболел на неделю, чем вызвал новые недовольства у баб Зои – лечи его тут теперь. И долго ему чудилось, что по ногам ползают мерзкие мокрицы. Бр-р. Ну, хорошо. Подполье мало кто любит. А если печь? Хорошую, добрую, теплую. Ее можно любить? По ней можно скучать? Вспоминать, как приказала баба Зоя прижать ладони к разогретой печи и не отпускать, куда она не разрешит. Это она так Куприньку проучить решила за то, что он ошейник от цепи слишком часто руками трогал. А как его не трогать, если больно? Вот баба Зоя и поставила мальчика лицом к печи, ноги на ширине плеч, руки полусогнуты в локтях и к печи же прижаты. «Стой вот так, пока не поймешь!» А что тут понимать? Купринькины руки ему не принадлежат. Купринькиными руками только баба Зоя вправе распоряжаться: говорить им, что трогать, а что нет, как махать, как лежать, как ухо чесать. Сам Купринька такого права лишен. Вот и стоит, вот и прижимает свои, да не свои, ладони к горячей печи. Слышит, как потрескивают в той поленья, как ворчит баба Зоя за спиной: «Крепче, крепче давай, не филонь». Поначалу было тепло. Потом стало жарко. Потом припекло. Ай, горячо!

Купринька руки одернул. Баба Зоя заорала: «А ну, верни на место!» Купринька послушался, вновь ладони к печи приложил. А там сразу горячо, сразу больно – того и гляди сгорят, потрескивая, как поленья.

По щекам мальчика покатались слезы, сначала тихие, крупными каплями падали на пол, после переросли во всхлипы, осторожные, несмелые. А потом как завопит Купринька, не в силах сдержаться от боли и обиды: «А-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а!» Баба Зоя забегала, засуетилась: ей и страшно, что услышит кто сей крик. На Куприньку

сердится, что тот ревет. «Замолчи! Замолкни сейчас же! – кричит баба Зоя. А Купринька не может. Ладони от печи не отрывает: выполняет приказание честно. А ладони горят, а ладони зудят, а ладоней уже словно нет – одни головешки от них остались. Прошлась баба Зоя кочергой по Купринькиной спине, да только хуже сделала. Пуще прежнего разорался мальчик: «А-а-а! А-а-а! А-а-а!» И не унять никак. Загорелась и спина, только от ударов кочерги уже. Весь Купринька полыхает. Разве можно после такого печь любить? Разве можно по ней скучать? Баб Зоя тогда Куприньку от печи оторвала, а он все орал и орал – огонь из рук и спины не уходил никак. Сунула тогда баб Зоя руки мальчика в ушат с водой. Полегчало. Словно бы и спине тоже, хотя ее никто в холодную воду не опускал. Баба Зоя наглаживала прям в воде остывающие руки Куприньки и приговаривала: «Ничего-ничего, скоро пройдет, скоро пройдет, не беспокойся». Или же скучать по столу, за которым не раз получал затрецины? Или по кровати, в которой приходилось лежать, к баб Зое привязанным? Или по красному углу, обитатели которого так и не принесли спасения Куприньке, сколько бы он ни просил, как бы он ни молился? Нет, не по чему здесь скучать. Даже по шкафу. А баба Зоя словно бы прощалась с Домом. И словно бы не хотела этого делать. Все еще сонной мухой передвигалась она из комнаты в комнату, от предмета к предмету. Погладила кровать, протерла рукой иконы, поправила шторы на закрытых окнах, пошаркала ногой, уставясь в пол, просидела на диване, уткнувшись в закрытый простыней телевизор. Минут с десять простояла у кухонного стола, вода по нему рукой, задерживаясь у гвоздей, ласково ковыряя тем шляпки, словно раздумывая: забрать с собой или нет. Еще десять минут провела на табуретке, той самой, на которой выпила несколько тысяч чашек чая, столько же съела тарелок супа. Любимая табуреточка! Такая простая, такая родная. С печью обнялась: «Ты ж моя кормилица!» Поворошила застывшие угли – это словно бы вместо ласки. Поправила котелки да кастрюли на полке, переложила поудобнее кочергу, смахнула пыль с чайного сервиза: так и не попила из него чай, так и простоял без дела, не дождался особого случая. Прошлась по комнатам, поправила везде половики. Сама же вязала каждый. А зачем? А для чего? А кому теперь? Хотела цветы полить, да не стала: чем раньше умрут, тем лучше. Опустилась на колени перед Красным углом. Расшторивать тот не стала. Достала из

кармана листочек, из календаря православного вырванный, и зашептала, глядя в него:

– Пречудная и Превышшая всех тварей Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати, Пречистая Одигитрие Марие! Услыши нас, грешных и недостойных, в час сей молящихся и припадающих к Твоему Пречистому Образу со слезами и умиленно глаголющих: изведи нас от рова страстей, Владычице Преблагая, избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злыя клеветы, и от неправеднаго и лютаго навета вражия. Можеш бо, о Благодатная Мати наша, от всякаго зла сохранить люди Твоя и всяким благодеянием снабдити и спасти; разве Тебе иныя Предстательницы в бедах и обстояниях, и теплыя Ходатаицы о нас, грешных, не имамы. Умоли, Госпоже Пресвятая, Сына Твоего Христа Бога нашего, да удостоит нас Царствия Небеснаго; сего ради всегда славим Тя, яко Виновницу спасения нашего, и превозносим святое и великолепное имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, в Троице славимого и поклоняемаго Бога, во веки веков. Аминь.

Глава 21

Возле дома Зои Ильиничны остановилась черная машина. Из нее вылезла плотная невысокая женщина. Очки в черной широкой оправе, волосы стянуты в низкий хвост, пиджак натягивается на груди так, словно пуговица вот-вот оторвется и отскочит кому-нибудь в глаз. Под мышкой папка с бумагами.

Женщина обвела взглядом Марью, Анфиску и Генку, сидевших на скамейке под закрытыми ставнями окон дома Зои Ильиничны:

– Вы службу опеки вызывали?

– Ага, – хором ответили Марья с Анфиской. Генка же лишь неловко поерзал на скамейке.

– Меня зовут Лариса Анатольевна, – представилась женщина из опеки. – Что тут у нас?

Она была лет на двадцать моложе и Анфиски, и Марьи, и Генки, но отчего-то те испытывали необъяснимый страх перед этой Ларисой Анатольевной. Словно это они – плохие родители. Словно это у них сейчас детей отбирать будут, лишать их родительских прав.

– Вот. Тут незаконно держат ребенка, – пролепетала Марья, указывая на дом Зои Ильиничны.

– Это я уже по телефону слышала, – отрезала Лариса Анатольевна. – Что значит незаконно?

В разговор вмешался Генка. Он чуть меньше тушевался перед представительницей службы опеки:

– То и значит. Бабушка тут живет одинокая. А мы у нее видели ребенка. Откуда...

Лариса Анатольевна оборвала Генку:

– Так, может, внук. Но меня больше цепи эти, ошейники интересуют. Что вы там про них по телефону дежурному говорили? Он из-за этих ваших цепей весь кабинет на уши поднял. Меня вон направили, а должны бы сначала через полицию, а получается, через одно место.

– Да, да, да, – затараторила Марья. – Она его на цепи держит. Четыре человека видели. Мы то есть видели вот вчетвером. Там еще с нами Анфискин муж был, но сейчас не смог, на работе он. Так вот, у

мальчика там ссадины. Царапины у него. И сам такой худющий. И не внук это. У нее и детей-то не было, внукам неоткуда взяться.

– Понятно, – сказала Лариса Анатольевна, – что ничего не понятно. – Направилась к двери, постучалась.

– Да не откроет она, – заметила Анфиска. – Она уже не первый месяц затворничает. Нам вот не открыла.

– Так то вы, – отрезала женщина из опеки. – А я вообще-то представитель власти. Не имеет права не открывать.

Генка усмехнулся:

– Ну-ну.

Лариса Анатольевна все стучалась, и стучалась, и стучалась, и стучалась. Никто не открывал. Ну, разумеется.

– Надо вскрывать, – спустя десять минут сказал Генка.

– Что? – Не поняла Лариса Анатольевна.

– Дверь, – пояснил Генка.

– Не имею права, – ответила женщина из службы опеки.

– Но вы же власть! – съехидничала Анфиска.

– Это уже проникновение в чужой дом, – закатила глаза Лариса Анатольевна.

– Даже если ребенку угрожает опасность? – уточнила Марья.

– Я пока не вижу никакой опасности. И ребенка тоже не вижу. Только фантазии трех взрослых людей, – парировала Лариса Анатольевна. – И вообще, как вскрывать будем? Тут специальный инструмент вроде бы нужен.

Через полчаса возле дома Зои Ильиничны торчал еще и участковый Иван Федорович, усатый мужчина предпенсионного возраста. Таким особенно идет форма, особенно фуражка, прикрывающая залысину на макушке. А еще у них, как правило, строгий, но совершенно безвольный характер. Это когда брови, значит, хмурит, но стоит только хлопнуть дверью или, чего больше, щедро выругаться матом, тут же теряется и начинает мямлить нечто невразумительное вроде: «Да я... да вас... ух... знаете... у меня... эти... полномочия... и тот... и пистолет... вот, я вам».

Участкового вызвонил Генка, сказав, что дело срочное. Тот срочно шел с соседней улицы целых двадцать минут. А куда, собственно, торопиться-то? Иван Федорович также отказался вскрывать дверь и проникать в чужое жилище.

– Мне на такие дела ордер нужен, – заметил участковый, почесывая под фуражкой небезызвестную уже нам лысину.

– Так, хватит! – рассердился Генка, то ли на участкового, то ли на Ларису Анатольевну, то ли на ситуацию вообще. – Ты мне, Федорыч, скажи, что мне будет, если я в чужой дом войду?

Участковый замялся:

– Ну, по сути, если Зоя Ильинична на тебя заявление не напишет, то ничего. А если напишет, то...

– Мне этого вполне достаточно, – оборвал участкового Генка. – Ничего она писать не станет, а сломанную дверь потом ей починю. – Он навалился плечом, поднажал пару раз, старенькая дверь долго не сопротивлялась. Она отворилась со скрипом, показав темноту коридора. Казалось, тут же послышатся звуки: разговоры, шепот, бречание посуды, топот ног – хоть что-нибудь. Но в доме было тихо. Так тихо, что аж мурашки по коже. Все собравшиеся замерли на пороге. Вскрыть дом вскрыли, а дальше что? Застать врасплох не получится – даже если и был кто внутри, он точно слышал все разговоры, споры и стоны ломающейся двери.

Забежать всей толпой с криками и гаками? Для чего? Кого пугать и зачем? Да и не про их это компанию.

Словом, поначалу никто зайти не решался. Спрашивается, зачем же тогда дверь ломали? Минуты через две Генка уверенно прошел в дом, кто-то должен быть первым. По логике – то задача участкового, но Федорович совсем растерялся, отвык уже от всяких проникновений, закопался в своем участковом пункте в бумажках. Да и не было особо на его веку проникновений этих. Деревня же, куда тут проникать и по какому поводу?

За Генкой просеменили Марья, Анфиска – те уж изнемогли от разбираемого любопытства. Конечно, они видели мальчика, это точно, это несомненно, но толика сомнений все же оставалась. А вдруг? Потом уже недовольная (вероятно тем, что ее так задвинули) Лариса Анатольевна и, чуть подумав, участковый. Внутри царил кавардак: разбросанные вещи, раскрытые дверки шкафов. И никого.

– А был ли мальчик? – иронично спросила Лариса Анатольевна.

– Может, все же ордер получить? – проблеял Иван Федорович. Ему все казалось, что они совершают правонарушение, а он не только

не останавливает свое действие, так еще и сам во всем этом участвует. Генка резким шагом прошел в комнату: действовать, так до конца.

И замер. За спиной его послышалось: «О господи!» Рядом с развернутым шкафом лежала та самая цепь с тем самым ошейником. Железные шипы были испачканы кровью. Засохшей, потемневшей, но точно кровью.

Нет, ну а чем же еще? Не в томатный сок ошейник опускали, в самом деле! Лариса Анатольевна подошла к цепи поближе. Брезгливо ткнула в нее носом туфли. Затем достала из кармана пиджака носовой платок и торопливо обтерла им свою обувь.

– Я бы предпочла, чтобы вы все это выдумали, – пробормотала она, поглядывая то на цепь, то на Генку. Повернулась к участковому: – Вот тут, на полу, посмотрите, пожалуйста. Кажется, тоже от крови пятна. – Пальчиком пухлым в пол тычет, а у самой рука едва заметно, но все же трясется.

Иван Федорович, все еще сомневающийся, шагнул к Ларисе Анатольевне. Признаться, служба у него в целом была спокойной, потому он не так и часто видел пятна крови, особенно засохшей. Ну, разве только когда один буйный другому нос разобьет, но там так, бызги, капли, и те большей частью на порванной рубашке потерпевшего. А так на его участке ни убийств, ни крупных драк и уж точно никаких луж крови. Участковый многозначительно помолчал, уставясь на пятна (просто что-то темное на полу, не поймешь – кровь ли, разлитый компот ли), типа, оценивает, а потом кивнул:

– Думаю, что кровь. – Он и впрямь так думал. Ну какой компот в такой-то обстановке?

Тут еще и Марья, словно зная, где искать, выудила потрепанную тетрабочку, открыла ее и прочла вслух:

– «Купринька шумит. Марья приходила, чуть не выдался ей. Сказала ей, что крысы в подполе завелись. Кажись, поверила. Марья чай пила, а я все слушала, не будет ли еще шуршать». Ох, это ж про меня. Я, кажется, даже помню тот день. Я еще тогда подумала: «Ничего себе, какие крысы, должно быть, огромные». Очень уж громкий тот шум был.

Анфиска выдернула из рук Марьи тетрадку, быстро перелистала страницы:

– Да она тут чуть ли не впрямую пишет, что у нее мальчик появился. Смотрите, еще вот такое есть: «Второго марта у меня появился он». А тут вот говорит, что назвала нового жителя Купринькой.

Генка хмыкнул:

– Ну и выдумала имечко.

Анфиска пояснила:

– Говорит, что это в честь писателя Куприна.

Генка пожал плечами:

– Еще не легче.

Лариса Анатольевна осторожно взяла у Анфиски тетрадку со словами:

– И все же это ничего не доказывает. Так и про кота можно писать, например. – Потом она пробегает быстренько по записям бабы Зои, задерживается на одной, охает: – Эта, похоже, свежая. По дате прям недавняя. Прочтите вслух, Геннадий.

Генка читает, глядя в тетрадку из-за плеча женщины из опеки. В руки не берет, словно боится заразиться от листочков в клеточку:

– Мой мальчик в большой опасности. Будто все о нас догадываются. Если его у меня заберут, я не переживу.

– Мальчик, – мерно произносит Анфиска.

– Вызывайте наряд, – почти приказывает Лариса Анатольевна участковому. Тот достает из кармана телефон. Еще через час дом оцепила полиция. Хотя к чему это оцепление: все, кто хотел сбежать, уже это сделали. Все – это баб Зоя с ребенком.

Полиция устроила в доме еще больший кавардак, перевернув все вверх дном в поисках улик, зацепок, чего угодно, чтобы найти мальчика и бабушку. В первую очередь – мальчика. Зацепок не нашлось. Правда, пара детских штанов да рубашек подтвердила: мальчик был. Закинутая на печь футболка с пятнами крови (на сей раз точно кровь) подтвердила слова Марьи, Анфиски и Генки о том, что с мальчиком, с Купринькой, баб Зоя обращалась жестоко. Но ничего, что помогло бы понять, где искать беглецов. Прочесали всю округу: заброшенные дома, старый колхоз, коровник, тот самый, в котором Купринька появился на свет, кусты на всякий случай, хотя понятно было, что два человека в кустах так долго и незаметно не просидят. Ни следа. Только деревню на уши поставили. Тут же потянулись зеваки,

которые, сколько их ни разворачивай, ни прогоняй, настойчиво лезут: «А что тут у вас? А кого ищете? Убили кого, что ли?» Для спокойной деревеньки три полицейские машины враз – это прям событие. Уже поползли слухи, что Зою Ильиничну убили. Кто-то даже знал, что зарубили топором – классическая же смерть для старушки – и теперь вот этот топор ищут, а убийца сидит где-то, и его не найдут, а это значит, еще убийства будут. И никто не предположил даже, что Зоя Ильинична сбежала, что это ее ищут, а не топор, это она прячется. Но не найдешь того, кто не хочет быть найденным. Схоронились крепко. Генка, Анфиска, Марья и Лариса Анатольевна, теперь уже вчетвером, сидели на все той же скамейке (только уже под раскрытыми ставнями), чтобы не путаться под ногами у полиции.

Каждого уже опросили, что знают, что видели, заставили написать заявление о пропаже человека, пока что одного – Зои Ильиничны, потому как поиски безымянного мальчика, существование которого еще не совсем доказано, непонятно как по закону оформлять. Мимо шел егерь Михалыч. Вообще, он через три улицы живет, но привлеченный, как и все деревенские, скоплением полицейских машин, не поленился сделать крюк и заглянуть на огонек от включенных сигналок.

– Тю, а что эт тут за собрание такое? – протянул Михалыч, перекладывая ружье с плеча на плечо. – Я иду, смотрю, стоят. Думаю, дай зайду, посмотрю, че стоят.

Генка поднялся со скамейки, подошел к Михалычу, пожал тому приветственно руку. Михалыч был спокойный мужик. Любопытный, но не как все зеваки, потому прогонять его не стали.

– С Зоей че стряслось? – спросил Михалыч.

– Ну, можно и так сказать, – ответил Генка. – Пропала. – Про мальчика пока говорит не стал. Как-то не по-мужски это: сплетки пускать. Даже если это не особо и сплетки. Михалыч порылся в карманах фуфайки – он ее всегда носил: и в жару, и в холод, – выудил оттуда мятую пачку «Беломора», достал сигарету, предложил Генке, хоть тот и некурящий – правила хорошего деревенского тона, понимаете ли.

Генка, разумеется, отказался. Михалыч закурил, шумно выдохнул сигаретный дым и задумчиво так сказал:

– Вы б в лесу проверили. Я там шалаш видел. Новый. Ране его там не бывало.

Генка аж подпрыгнул:

– Где? – Версия с лесом, конечно, безумная, но, когда вся деревня прочесана вдоль да поперек, отчего ж не поверить и во что-то менее вероятное.

Михалыч развернулся к лесу, махнул рукой:

– А вот по той тропке надо пойти. Версты три где-то. Потом, значит, направо увернуть. Там сосна такая поваленная, не пройдешь мимо. И потом еще через поляну черничную пройти, а там уже и видно будет шалаш этот.

Генка ринулся к дому: нужно как можно скорее сообщить о возможном месте укрытия баб Зои и мальчика. Самое главное – мальчика. Михалыч прокричал ему вслед:

– Но я не знаю, Зоя там иль не Зоя. Близко я не подходил. Мне как-то не за надобностью.

– Да и ладно! – ответил Генка. – Мы и сами уже проверим. Спасибо тебе, Михалыч.

Глава 22

Дорога оказалась невероятно долгой. Еще бы! Считай, первое Купринькино приключение. Да и баб-Зоино, впрочем, тоже. Как и решилась на то вечная домоседка? Это ее страх подгонял, не иначе. С наступлением темноты вместо зажженных свечей, привычного комнатного полумрака перед Купринькой, а точнее – над ним, вновь раскрылся Божий дуршлаг. На сей раз не столь яркий, местами прикрывающийся облаками, но все же вполне различимый.

Баба Зоя шикнула на замершего мальчика:

– Ну что встал как вкопанный? Звезд, что ли, не видел? Звезды. Так вот, что это такое. Звезд-ды.

Хотел бы Купринька повертеть на языке новое слово, покрутить так и эдак, а после высказать, да не получалось – слишком уж звенящее, слишком уж сложное.

– З-з-з, – только и выдавил мальчик. З-з-з. Словно жук пролетел. И все же темнота уличная не чета комнатной. Вотничегошеньки у них родственного нет. Комнатная темнота давит, жмет, зыркает на тебя из-под кровати. Вся такая душная, вся такая плотная. И страшная, хотя знаешь, что стоит только щелкнуть выключателем, как тут же заскулит темнота, отступит темнота, разбежится по углам, будет подглядывать оттуда и неуверенно ухаться, пытаешься шугануть. К пятке из-под печки потянется, да обернется тут же.

Уличная же темнота вся из себя важная, степенная, широкая, словно немного расступается перед идущим сквозь нее человеком. Она не давит, а окутывает, на плечи мягко ложится, будто хочет спрятать, уберечь невесту от чего. Уличная темнота шумит ласкающими звуками: переключкой сверчков, треском умирающего фонаря, редким уханьем сычей, волнующейся от ветра травой, возней собаки в конуре, неожиданным «мяу» упавшего с забора кота. Такую темноту так просто не прогнать. Не испугаешь ее выключателем. Отступит слегка от света фонарей – не гордая, а потом вновь возникнет перед тобой, схватит в объятия свои черные и не отпустит ни за что. Нет, не дергайся – бесполезно. За деревней темнота стала гуще. Обступила со всех сторон. Вобрала в себя бабу Зою с Купринькой, теперь уж ни за

что не отпустит. Баба Зоя от самого дома мальчика за руку за собой тащит, вцепилась крепко-крепко в тонкую ручку. Купринька едва за бабушкой поспекает, чуть ли не бежит. Баба Зоя ворчит то и дело:

– Не дыши так громко. Фу-фу, фу-фу, что старик распыхтелся. Что так топаешь? Слон, что ли? Ступай осторожнее. Поторопись. Шевели ногами. Не хлюпай носом. Так слюну глотаешь, что вся округа слышит. – И за руку его дергает, дергает, дергает, дергает. Ну куда еще быстрее идти? И так уже едва поспешает. Это еще что. Вот когда из дома выходили, баб Зоя так заткнула ладонью Купринькин рот, что тот словно бы все морщинки губами прочувствовал. Хотя, признаться, при всей баб-Зоиной старости ладонь у нее как раз не столь уж и морщиниста, так, разве что пальцы. Это она, чтоб Купринька не раскричался. А он и не собирался вовсе. И нечего ему тут рот закрывать.

Пробралась баб Зоя на улицу через задний двор, чуть всхлипнув при виде коровы и спящих куриц:

– На кого же я вас оставляю, родимые? На верную смерть. Уж простите меня. – Корова, словно предчувствуя беду в виде наступающего голода и распирающего от молока вымени, грустно замычала, провожая взглядом беглецов. Баб Зоя смахнула с щеки предательскую слезу: ну стоит ли так жалеть о корове (спаси, Господи, кормилицу), когда на кону жизнь Куприньки. И ее, возможно, тоже.

Но на всякий случай выпустила корову из стойла, да и дверь в хлев приоткрыла – пусть уйдет на вольные луга, а там, может, и заметит кто, и приберет, и покормит, и подоит. Вот хорошо было бы.

Курятник тоже настезь распахнула и мешок зерна опрокинула. Не помрут. Обожженные до колен крапивой, отхлестанные по лицу ветками потревоженной ивы, выскользнули Купринька и баба Зоя из дома. И окольными путями, перебежками выбирались из деревни. Замирали, едва только собаки начинали лаять, почуяв чужаков. Ночью всяк прохожий – чужак, баб Зоя и Купринька не исключение. Вот и не двигались, покуда псы не успокоятся. Приседали, падали в кусты, укрывались за заборами, если встречалась на пути подозрительная тень, особенно если та на человека оказывалась похожа.

Не дай-то Бог, не дай-то Бог! Никто не должен их увидеть. Никто не должен их остановить. Куприньке поначалу все весело было, необычно, ново. Хотелось хохотать от восторга, даже когда крапива

больно жалила ноги. Это ж новое ощущение! Здорово как! И даже не больно совсем! А уж что такое боль, Куприньке ведомо. Жаль вот только, баба Зоя то и дело рот мальчику затыкает – у нее не забалуешь, у нее не похочешь. Лишь только за деревней поуспокоился Купринька. И баба Зоя окончательно рот ему разжала. И на том спасибо. А там, за деревней, темнота, вы уже знаете. Впрочем, темнота им только в помощь. И чуточку зябко. И еще спать хочется. День был эмоциональный, сумбурный, вытянул все соки, выжал, выплюнул. А тут еще баба Зоя дергает, дергает, дергает. Рот прекратила зажимать, так теперь дергает, никак не угомонится.

– Тьфу пропасть! Ты чего это зевать удумал? – зашипела баба Зоя. А Купринька и впрямь раззевался. Баба Зоя все ворчит: – Ежели уж зевать решил, так делай то потише, а то у тебя не зевок, а крик орангутана, ей богу.

Не понимает Купринька, в чем проблема: подумаешь, орангутан какой-то. Это кто вообще такой будет? Что плохого в его зевках? Может, он еще и плюется при этом? Или зубы, например, выпадают и стучат по дороге – кляц, кляц, кляц. Что такого особенного в том, как орангутан зеваает? Но не спросишь же о том бабу Зою. Во-первых, слишком много слов нужно сказать, Купринька столько не потянет. Во-вторых, даже если бы и умел так резво говорить, все равно баб Зоя не ответила б, тут и гадать нечего. Или бы отмахнулась, или бы вновь разворчалась-расшикалась. Вот так и остаешься в неведении. Орангутан. Хм. Тянет баба Зоя Куприньку через поле в темную бездну: не видно, что там в конце. Куда идем? Зачем? И как-то совсем холодно стало вдруг.

Купринька поежился. Хотел было руками себя обхватить, чтоб хоть немного тепла задержать в себе, да не позволила баба Зоя, цепко левую руку Купринькину держит, ни за что не отпустит.

– Что? Зябко? – спросила. Только и всего. Даже ответа не дождалась. Ей все равно, холодно ли Куприньке, нет ли, знай, тянет за собой. И дергает. И уже не столь весело Куприньке вдалеке от дома, уже не радует его это неожиданное путешествие. И темнота уличная кажется столь же невыносимой, как и та, что осталась в комнате. Может, старая черная знакомая шепнула из окна этой, новой, темноте: «Ты за мальчишкой как следует приглядывай. Ты ему расслабляться не давай. Пошугай там его, пошугай хорошенечко». Темнота темноте не

рознь получается. И спасительные фонари остались далеко позади. И тепло домашнее окончательно ушло, так резко забылось, словно и не было его вовсе. Никогда. И дома тоже никогда не было. И шкафа не было. Все съела темнота. То ли одна, то ли вторая – уж не разберешь. Вот только боль зачем-то оставила. Все съела, а ее оставила. Зря. Лучше б ее забрала. Вместе иль порознь с домом и шкафом – уже все равно. Повернула было баба Зоя к старому колхозу, но будто почуяла, что там в первую очередь искать будут, передумала. Впрочем, тут и чуйка ни к чему: во все времена, едва только колхоз заглох и коровник этот позабытым-заброшенным оказался, прятались в нем все кому не лень. И пьяница Афанасий, которого разозленная жена трое суток по всей деревне искала, а он, видите ли, отсыпался и догонялся, развалившись в старой колоде. И какие-то заезжие бандиты, то ли банк ограбившие, то ли обчистившие карманы несчастному путнику – местные все время путались в этой истории. Их тогда быстро обнаружили, быстро же и повязали. А деревенские придумали, что бандиты (ну ворье так-то, какие с них бандиты?) в старом колхозном коровнике обронули награбленное. Ой, все тогда переворошили, что осталось. Кто-то аж землю внутри вскопал. Не нашли ничего. Ни копеечки. Но не разуверовались. Теперь вот плюс одна легенда про деревенский клад, который точно есть, да только никто его не найдет. И Анна вот там Куприньку родила. Об этом, правда, никто не знал. Даже баб Зоя. Так что она точно не из-за этого передумала в коровнике хорониться. Найдут там! Ей богу, найдут. А в том, что их будут искать, баб Зоя не сомневалась. Нет, прятаться надо надежно. Там, где и не подумают тебя искать. Вот и направилась баб Зоя к лесу. Жутко, конечно, хоть и с молодю туда чуть ли не каждый день (исключая зимние) таскалась. Всякое дерево знает, до веточки, до листочка. Каждый кустик. Каждую лесную тропинку, поляну, грибные места, глухариный ток, небольшие, но гиблые болотца. Но то дни, а сейчас ночь. Ночной лес страшен. Вон стоит черной зубчатой стеной. Грозный. Хмурый. Непрístupный. Того и гляди, выпустит всех лесных зверей на непрошенных гостей: лоси истопчут, медведи в клочья разорвут, птицы-вороны остатки разнесут по краям Земли. Были баба Зоя с Купринькой и сгинули. Ох, страшно! Вот и решай, где погибать: в колючем лесу или в собственном доме под натиском зевак в виде Марьи, Анфиски и их благоверных. А теперь баб Зоя с Купринькой –

непрощенные гости. Никто их в лес не звал. А коли и послышались крики, то филин ухнул: «Уху». Что значит «пойдите прочь». Но нет пути назад. Куприньку уж и хватать не нужно, и дергать не требуется – он сам к баб Зое жметесь, да так, что и шагу не ступить. Та его чуть отодвигает: «Да отцепись ты!» Но Купринька пуще прежнего прижимается, руками талию обхватывает и виснет на старушке. Тьфу, дурак какой! Ступает баба Зоя в лес. Тот обступает ее сразу, нависает злобно: «Кто такая? Зачем пожаловала?» Ни слова не молвит баба Зоя, во рту пересохло от страха. Трещат под ногами ветки, будто ругаются: «Зря-зря-зря-зря-хряк-хрясь». Если днем по этим же веткам идти, то их треск приятен уху – мелодия леса. Но ночью дело другое. Ночью этот звук по всему лесу разносится, громыкает, об деревья ударяется: «Гости пожаловали! Съесть-съесть». Деревья склоняются: «Кто это пришел, зачем это наш сон потревожил?» Расшумятся недовольные сосны: «Ф-ф-фу». Сжимается баб-Зоино сердце, хватается за подол усталый Купринька, но не сбавляет ходу старушка, идет и идет все глубже и глубже в чашу. Не шумите, сосны, не трещите, ветки, мне укрыться больше негде. А коли съешь меня, лес, так то и лучше будет. Попритих лес, смирился. Села баба Зоя на землю – нет сил дальше идти – привалилась к елке. К баб Зое привалился Купринька. И тут же уснул. Бедный, уставший мальчишка. Задремала и Зоя Ильинична. Сквозь сон пытается следить, не передумает ли лес, не обрушится ли на беззащитных. И перепутался уже сон с явью. То уплывал, то возвращался Купринька. То ухали, то замолкали филины. То шевелила своими корнями недовольная ель, то стояла смирно – ей-то что, хотите спите, хотите нет, хотите возле меня, хотите у моей сестрицы. Лишь под утро лес присмирел окончательно. Прогнало солнце его угрюмость. Согрело баб Зою, разбудило Куприньку.

Тот раскрыл рот от удивления, широко, не стесняясь. Да и кого тут стесняться? Что за волшебное место? Недавно только тут было темно и страшно, а сейчас гляди-ка: золотом льется свет, пробиваясь сквозь ветви деревьев. Те не шумят злобно, тянутся к солнцу, не до Куприньки им. Филин спать ушел, не пугает, не ухаает. Лес стал приветлив. Лес стал прекрасен.

– Нравится тебе, Купринюшка? – спросила баба Зоя, заметив восторг мальчика. Тот радостно закивал. – Ну что ж, вот наш новый дом. Покуда тут жить будем. – Вот только сколько это «покуда» – не

уточнила. – До конца лета да сентябрь перекантуемся, а там видно будет. Что наперед загадывать? Нам бы только еще немного пройти, от опушки совсем недалече мы сейчас, – сказала баба Зоя, подымаясь и стряхивая с юбки хвоинки. Тело Куприньки немного ломило, все же спать на земле и на баб Зое не так уж удобно, но к новому походу мальчик был готов. Это ж надо: столько всего интересного впереди!

Шли они, шли (Купринька, правда, больше скакал что козленок), пока не приглянулась бабе Зое полянка.

– Тут останемся. И ягод, гляди-ка, много. – Набрала баб Зоя в ладонь черники, сунула ее в рот, пожевала задумчиво, выплюнула и Куприньке протянула: – На-кась, попробуй. Витаминчики. – Купринька слизнул черничную жижу с баб-Зоиной ладони, улыбнулся черными зубами: сладко. – Что ж, как-нибудь проживем, – вздохнула баба Зоя. – Сколько-нибудь протянем.

Глава 23

По ночам Купринька мерз. Прижимался к бабе Зое, чтоб согреться, но не чувствовал тепла.

Днем Купринька голодал. Прихваченная с собою краюха хлеба закончилась быстро. Все ягоды, что росли вокруг шалаша, они давно уже объели, а дальше ходить боялись. Вернее как – боялась баба Зоя, Купринька-то и рад бы изведать новые поляны. Но баб Зоя не отпускала. И Купринька подчинялся. Иногда чудилось, что воют волки. Иногда, что прям рядом. Но ни один волк пока на них не вышел. Говорят, волки убивают больных зверей. Значит, Купринька и баба Зоя пока еще здоровы, пока еще плохая добыча. Конечно, это все самообман. Просто повезло. Волк может убить кого угодно, если захочет есть. Купринька теперь не совсем понимал, зачем они переселились из дома сюда вот, в лес. Из тепла и сытости в холод и голод. Хотя поначалу ему было радостно: вот оно, небо, вот он, простор. Свобода! Долгожданная.

Первые дни он радостно носился по поляне, правда, баба Зоя запретила кричать, визжать и вообще издавать громкие звуки, да еще и следила за мальчиком суровым взглядом. Это уменьшало Купринькино возбуждение, но всего лишь на чуточку. Воздух! Свежий, не то что в шкафу или даже в доме с его вечно закрытыми ставнями.

Мальчику казалось, что он видит этот воздух, может его потрогать, почувствовать, пропустить сквозь себя. Откуда ж всю жизнь запертому в четырех стенах Куприньке знать про существование ветра. Да и к чему знать слово, когда ветер просто есть, когда он треплет Купринькины волосы, щекочет нос, пускает по коже мурашки? Если Купринька не бегал, то сидел у входа в шалаш и наблюдал. Его, кстати, за несколько дней соорудила баба Зоя из еловых лап и повалившихся некрепких тонких осинок. Лапы старушке так просто не давались: кололись, проклятые, не хотели отламываться. А так было бы хорошо целую еловую ветвь, чтобы укрыла надежно от ветра, дождя и снега, если придется до зимы тут куковать. Но нет – отрывались лишь мелкие ветки, которые пристраивались уж как получится, лишь бы не упали. Так что шалаш получился некудышный: с дырами-пустотами, от

непогоды не укрывал. Прятал лишь от глаз людских. Впрочем, этого-то бабе Зое и надобно было. Купринька же наблюдал за бабочками, порхающими над одуванчиками, за деловитыми муравьями, несущими на своих спинах веточки, листики и пару раз – дохлых мух, за бойкими птицами, распеваящими веселые песни, за падающей иногда хвоей, за летящими по небу облаками, за рогатым жуком, что перевернулся на спину и беспомощно барахтает лапками, за пауком, изловчившимся сплести паутину на едва построенном шалаше. За всем, прежде не виденным. За всем волнующим. За всем, что раньше было под запретом, за закрытыми ставнями. И никто больше не мог схватить его за шиворот и уволочь в Вечную Темноту. Никто не мог запереть в шкафу, посадить на цепь, заставить играть, когда не хочется. Свободный Купринька (баб-Зоин строгий взгляд хоть и держал мальчика, но уже не мертвой хваткой) прыгал по пенькам, бегал по поваленным деревьям, быть может, воображая себя эквилибристом. Но знает ли мальчик, кто такой эквилибрист? Вряд ли. Просто желание всюду ползать, скакать, испытывать свое тело на прочность, находясь в шаге от увечий, у мальчишек в крови. А Купринька только сейчас почувствовал себя настоящим мальчишкой. Испарилась былая неуклюжесть, стал легче шаг, выше прыжок. Поблагодарить бы за все Бога. Это ж он сотворил? Это ж он подарил Куприньке свободу?

Задирает Купринька голову, но не видит божий дом – сокрыт тот сосновыми да еловыми ветками. Ну ничего, вот уснет баба Зоя покрепче, выбежит Купринька на поляну – там виден огромный кусок неба, там не отгородился от мальчика Бог – и все-все-все свои благодарности разом вывалит. Осталось только добежать до поляны. Баба Зоя словно притихла от страха. Она бросала на Куприньку гневные взгляды, когда тот убежал непростительно далеко, заставляла его есть разжеванные ею ягоды (так ведь привычнее), один раз даже подняла на Куприньку палку, но тут же бросила – сил, чтобы хотя бы раз ударить Куприньку, не осталось. Баб Зоя чувствовала: еще немного, еще чуть-чуть – и совсем отдалится от нее Купринька. Осмелеет и уйдет. Он уже почти смелый. Зое Ильиничне становилось хуже с каждым днем. Старость не радость, шалаш, чай, не царский дворец, ягоды не весть какая еда.

Первые дни баба Зоя еще бодрилась, рыкала на Куприньку, строила шалаш, а после залегла в нем, почитай, прямо на голой земле

лопатками, уткнувшись в корни ели, да так и не вставала.

Купринька теперь приносил ей ягоды, Купринька теперь пережевывал ей пищу. Купринька теперь ей не повиновался.

– Иди поближе, Купринюшка. Или поближе, родненький. Садись вон сюда, ко мне в ноги. Удобно ли? Слушай же, Купринюшка, мою последнюю сказочку. Она будет очень короткой, потому что сил моих больше нет.

Однажды люди нашли древнюю-древнюю мумию. Они откопали ее из глубины земли. А никто их об этом не просил. По крайней мере, мумия точно не просила, ей и без того было неплохо лежать себе в земле. Но люди ее тревожили. Взяли и вытащили из укромного местечка.

Мумия была очень зла за это на людей. И тогда она наслала на человечество множество всяких бед: наводнения, цунами, штормы, таяния ледников, землетрясения, кораблекрушения, самолетокрушения и даже войны. И люди поняли, какую ошибку они совершили. И закопали мумию обратно.

Только это не помогло. Ведь на самом деле мумии, хоть и неприятно было вылезать из недр земли на божий свет, разозлилась она вовсе не из-за этого. Дело в том, что, оказавшись вновь рядом с людьми, мумия вспомнила, сколько боли они причинили ей, когда она еще не была мумией, когда сама была таким же человеком. Люди очень злые, Купринька. Очень злые. Вот мумия и отомстила им за их злость. Впрочем, получается, и сама мумия была злой. А как иначе? Ведь некогда она была обычным человеком. А люди все... ну, ты уже знаешь.

Баба Зоя вздохнула:

– Ох, вот и я скоро умру. И превращусь в мумию. И найдут меня через тыщи лет. И разозлюсь я тогда на тех, кто меня потревожил. – Баба Зоя замолчала. Она так измучилась, что больше не было сил говорить. Из груди донеслось то ли сипение, то ли хрипы, то ли всхлипы.

Купринька удивленно уставился на бабу Зою.

– Умираааю, – прошептала та и закрыла глаза. Купринька склонился над бабой Зоей, не понимая, что с ней происходит и что ему нужно делать.

В этот-то момент их и обнаружили.

– Сюда! Сюда! Здесь они! – закричал молодой полицейский. Рядом с ним на поводке надрывалась-лаяла овчарка.

Купринька прижался в испуге к бабе Зое, а сам уставился на ошейник собаки. Тот был обычный, кожаный, без шипов, но все равно неприятно и больно на него смотреть. Полицейский, перехватив взгляд Куприньки, тут же усмирил собаку:

– Дина, фу. Сядь! – Овчарка повиновалась. И сразу стала доброй. Уши топорщатся, розовый язык навывкат – утомилась, пока шла по следу. Дина словно улыбалась, но Купринька все равно ее боялся. Ее ошейника. – Иди ко мне, мальчик, – ласково сказал полицейский, сев на корточки и протянув руки. Купринька покачал головой и еще сильнее прижался к бабе Зое, вцепился в левую руку.

Зоя Ильинична лишь страшно хрипела, не в силах пошевелиться. И не понять, что означал тот хрип: проклятия и угрозы полицейскому или же приказ Куприньке слушаться дядю. Тут набежала толпа людей: полиция, опека, Марья, Генка, Анфиска, какие-то зеваки, вызвавшиеся помочь с поимкой неопасных преступников.

Секундное замешательство возле хлипкого шалаша: как можно было столько времени держать ребенка в таких условиях? А потом сам ребенок – грязный, лохматый, тощий мальчишка, испуганно тарашит на всех глаза, жметя к бабе Зое. Лариса Анатольевна просунулась в шалаш:

– Иди ко мне, – сказала она мальчику. Купринька вновь покачал головой. К полицейскому не пошел, а к этой тетке зачем идти? – Иди, иди, – повторила женщина из опеки, хватая Куприньку за руку и пытаясь подтащить к себе. Купринька заорал, расцарапал протянутую ему руку.

Баба Зоя застонала и выдавила из себя:

– Не тронь! – Голос ее звучал ужасно. Хриплый. Сиплый. Утробный. Он словно раздавался из иного мира.

– Мне нужен мужчина! – сказала Лариса Анатольевна, вылезая из шалаша. – Мне не справиться.

Генка вызвался помочь. Решительно он залез в шалаш, схватил Куприньку в охапку и оттащил от бабы Зои. Мальчик верещал, пинался, кусался, рвался обратно, но Генка терпеливо сносил все побои, крепко держал мальчика и выносил его из леса.

Баба Зоя хрипела:

– Отда-а-ай! Отда-а-ай! – Попыталась встать, но забилась, словно в агонии, не в силах даже приподнять голову и посмотреть, куда это уносят ее мальчика, ее родненького. – Отдай, – еле слышно шепнула и притихла. Глаза закрыла. Не померла ли?

Один из полицейских глянул на бабу Зою, оставшуюся в шалаше, сказал как-то безэмоционально:

– Тут надо носилки. Без них ее не утащить будет. – Ему было совершенно не жаль старушку.

Купринька кричал и царапался аж до самого дома. Возле него, узнав родные места, чуть успокоился и даже позволил посадить себя в черную машину службы опеки. Что удивительно. Скорее всего, от неожиданности, да и выплеснул все эмоции, обессилел.

– Что теперь? – спросила Марья у Ларисы Анатольевны, поглядывая на Куприньку. Тот слегка покачивался взад-вперед на заднем сиденье, сложив руки на груди крестом, изредка ударяясь о переднее кресло и будто не замечая этого.

Купринька впал в транс. Шок, конечно же, у мальчика шок. Столько испытаний на крошечную детскую душу.

– Мальчика нужно обследовать, – ответила женщина из опеки. – Здоровье, физическое и психическое в первую очередь. А там уж смотреть будем, куда его направить. Если все хорошо, то в детский дом определим. С документами еще возня. Он же у нас, получается, без роду, без племени, как говорится. Попробуем, конечно, бабушку насчет свидетельства о рождении, но думаю, что вряд ли оно имеется.

Сердце Марьи сжалось. Так ли хорошо будет мальчику в детском доме? Точно лучше, чем у Зои Ильиничны? Правильно ли они поступили? И как они будут Зою «пытать»? Она ж совсем плоха, какие ж тут пытки? С громким сигнальным «виу-виу-виу» подъехала «Скорая», Купринька слегка встrepенулся от громкого звука, прилип к окну, превратив свой нос в забавный пяточок. Он уставился на машину «Скорой помощи», словно то была волшебная карета. Вскоре из леса показались полицейские, они несли стонущую бабу Зою на самодельных носилках – две палки, обмотанные рубахами да футболками, у кого что надето было. Из «Скорой» выбежали врачи, раскрыли задние двери машины, помогли погрузить старушку.

Баб Зоя без остановки шептала:

– Где? Где? Где, где, где, где, где-где-где – Искала своего Куприньку. Хотела знать, где он, как он. Такое несчастье!

Вдруг с громким ревом и криками:

– Ба-ба-ба-ба-ба-а-а! – Купринька вырвался из черной машины и побежал к «Скорой». По щекам его текли слезы. – Баба! – кричал мальчик и рвался к Зое Ильиничне. За ним рванули Марья и Лариса Анатольевна. Последняя схватила было Куприньку за рукав, но мальчишка легко вывернулся. – Баба! – прокричал он так четко, так громко, как никогда ни одно слово не произносил.

Услышала это и Зоя Ильинична, просвистела в ответ, не в силах уже произнести ни звука. Вот оно что – баба. Все же не мама, хоть и вырастила его с пеленок. Баба. Но и то хорошо. Говорят, у бабушек с внуками особая связь.

Баба. Как тепло на душе. Обнять бы сейчас Куприньку, прижать к себе, сказать, как сильно его люблю, как не могу без него, что он мое сокровище, золотая моя головушка. Нет сил на слова. Баб Зоя закрыла глаза и принялась про себя повторять: «Я так сильно тебя люблю. Я так сильно тебя люблю. Прости меня за все». Жаль, Купринька этого никогда уже не услышит. Врачи закрыли двери «Скорой», включили мигалку, и машина тронулась с места. Бездушная машина с бездушными врачами. Им невдомек, что тут целая трагедия развернулась. Они просто делают свое дело – увозят больную туда, где ей окажут должную помощь.

– Не-е-ет! – рыдает Купринька. – Не-е-ет! Ба-ба! Ба-ба! – Лариса Анатольевна попыталась приобнять мальчика, мягко увести его и посадить обратно в машину, но Купринька вывернулся, еще раз закричал: – Ба-ба-а-а! – и побежал за «Скорой». Та лишь обдала его облаком пыли. Купринька упал на дорогу, уткнулся лицом в землю и зарыдал: – Баба. Баба. – Словно чувствовал, что никогда больше он не увидит бабу Зою.

Эпилог

– Коленька, только далеко не уходи. Скоро обед! – Ладно. – Он повзрослел, он много занимался с логопедом, научился говорить чисто, правильно, но так и остался немногословен. Коленька. Это его новое имя. Прежнее, Купринька, показалось его новым родителям странным, неподходящим, да и потом – оно могло напомнить Коленьке о прошлой жизни, о неправильной жизни, такой, о которой следовало забыть. Вот они и переименовали мальчика в Николая. Николай Вячеславович. Звучит неплохо. Правда, так только в документах. Купринька откликался только на Коленьку. Остальные варианты нового имени – Николай, Коля – ему казались какими-то чужими. Коленька прижался к забору грудью и стал смотреть в сторону своего старого дома. Он делал это каждый день, сам не зная почему. К тому же дом тот не был виден отсюда, он где-то там, наискосок, через две улицы. Но от него слово шли какие-то вибрации, словно что-то манило Коленьку (в этот момент опять становившегося Купринькой). Один раз он решился и сходил-таки к дому бабы Зои. Старая изба покосилась, почернела от времени, вокруг нее буйно разрослась трава и борщевик (к негодованию соседей), деревенские ребятишки разбили почти все окна камнями, а пристройка и вовсе рухнула. Хорошо, что хозяйка всего этого не увидит. Коленька постоял с минуту напротив дома, внутрь войти не решился. А надо ли? Представил себе, как он поднимается по ступеням крыльца, проходит по коридору, что когда-то называл Задверьем, попадает в дом... а вдруг его чрево вновь засосет в себя мальчика? Засосет и не отпустит никогда больше на свободу. По старой памяти. Бабы Зои ради, исполняя ее заветное желание: держать Куприньку в неволе до конца его дней.

И стало Коленьке так жутко, так жутко, что он бежал от бывшего своего дома, не оглядываясь, пока не очутился в своем новом жилище, не захлопнул за собой дверь, не закрыл ее на засов. И больше он к дому бабы Зои не возвращался. Но тот все равно стоял перед глазами, пугал кривизной и разбитыми окнами. И манил, манил беспрерывно, как чудовище манит в свое логово беззаботного ребенка. А потом – хап – и съест, не подавится.

– Коленька! Давай скорее! Суп остынет! – Новая мама (первая мама), Лена, стояла на крыльце и махала Коленьке полотенцем, вероятно, тем самым, с помощью которого снимала с плиты суп. Конечно, она Коленьке на самом деле не мать, а по сути, бабушка, но к чему вся эта путаница? Мальчику нужна мама, вот Елена ею и стала. Документы на усыновление им оформили быстро и даже разрешили забрать мальчика сразу, не отправлять в детдом в ожидании окончательного решения. Оно и хорошо, а то затянулось бы все не на один месяц. Мальчик, по сути, без роду, без племени, без документов. По бумагам он даже не родился, да и не было у него никаких этих бумаг. Вот и ломали головы сотрудники ведомств, думая, как бы правильнее нового, не такого уж и маленького уже, человека зарегистрировать. Что-то там накрутили, где-то наворотели, и вот он настоящий гражданин, со свидетельством о рождении, СНИЛСом и пропиской в новом доме. И с новыми родителями, разумеется. То, что Купринька – внук Елены и Славы, баба Зоя рассказала перед самой смертью. Она настала почти сразу после того, как увезли ее на «Скорой», как забрали у нее мальчика, лишили единственной отрады и смысла жизни. Не выдержало сердце старушки разлуки.

Впрочем, и без того баб Зоя была плоха: несколько дней в лесу не могли не сказаться. Но не стала уносить Зоя Ильинична тайну в могилу: вызвала к себе Марью, а та зачем-то прихватила с собой Ларису Анатольевну из опеки. То была предсмертная исповедь бабы Зои.

Рассказала она женщинам все: как увидела Аннин грех, как совершила свой. Марья хотела было вывалить на Ильиничну весь свой гнев, все свое негодование по поводу того, как та поступила, распорядившись жизнью младенца на свое усмотрение, как та потом относилась к мальчику, как растила его неправильно, как мучила его, сама того не замечая. Да сдержалась. О мертвых говорят только хорошее или ничего, а об умирающих всегда молчат. Елена и Слава поначалу не знали, как и реагировать на сию новость. Как радостно, что объявился внук, родная кровь, продолжение рода. Как горестно узнать о поступке своей дочери.

Столько лет было потрачено на то, чтобы перестать думать и гадать, как Анна очутилась в этом треклятом пруду, почему утонула,

сама ли! А теперь вот новые подробности: беременность, ребенок, выброшенный на помойку.

Анна, что с тобой случилось? Уж не из-за ребенка ли ты покончила с собой? Горе ты горькое! Отчего не пришла к отцу, к матушке? Отчего не рассказала о своем несчастье, которое на самом деле счастье великое? Неужели не поддержали бы тебя? Неужель не позаботились бы и о тебе, и о младенце твоём?

Эх, Анна-Анна, что же ты наделала? Кабы не глупость твоя, жили бы сейчас счастливо все вместе – мать твоя, отец твой, сын твой, да ты сама. А теперь и тебя не воротишь, и Коленька только сейчас нас обрел. Впрочем, обрел – и то хорошо, и то ладно. Слава пододвинул внуку... сыну тарелку с хлебом:

– Горбок чесноком натер. Если вдруг хочешь.

Коленька чуть улыбнулся и кивнул: «Спасибо». И принялся шумно хлебать щи. С этим, конечно, намучились. Первое время Коленька уставлялся на тарелку, словно видит такое впервые, боялся взять в руки ложку, чего-то ждал.

– Ну же, ешь, – просила Елена. – Суп не горячий. – Но Коленька не ел. Потупил глаза, схватился руками об стол. – Не хочешь?

– Хочу, – ответил мальчик.

– Так почему же не ешь? – удивилась Елена.

– Жевать, – тихо сказал Коленька.

Минут десять потребовалось на то, чтобы выяснить, что Коленька не умеет есть сам, что все ему нужно пережевывать. Слава невольно поморщился. Елена всплеснула руками:

– Бог ты мой! Да ты ж большой уже! Что ж я тебя, как галчонка, должна кормить? Нет, так дело не пойдет.

И пришлось учить Коленьку есть, прям как малого ребенка. А как выучился, так стал есть быстро, шумно, словно торопился закончить до того, пока не отнимут еду, не превратят в кутью, не начнут заталкивать насильно в рот. Пусть никто так делать и не собирался. Слава ласково смотрел на Коленьку. Торопыжка какой. Впрочем, только с едой он и был тороплив. Во всем остальном мальчик был неспешен, скорее мечтателен.

Мог, например, засмотреться на травинку и не отрываться от нее полчаса, а если по той жук какой ползает, то и того дольше. Любил лечь на землю и смотреть, смотреть, смотреть в небо без конца.

Мать его, настоящая мать – Анна, такой не была. Та в детстве много бегала, смеялась, быстро отвлекалась. Коленька не такой шустрый. Хотя глаза... Глаза Анечкины. Большие, добрые, смышленные. Больше сходств с погибшей дочерью во внуке Слава не находил. Да и к чему оно? Была Анна. Теперь вот вместо нее Коленька. Два разных, хоть и родственных, человека. Незачем их сравнивать. Но эти глаза все же... А ведь хотели девочку. Бантики. Ресницы длинные. Вот тебе вместо бантиков: парень, получите-распишитесь. Но как-никак родная кровь. Наследничек. Настоящий. По полному праву. И грустно на него сейчас смотреть, и отрадно. Грустно, что вместо положенного деда стал отцом. Грустно, что мать, настоящая, Анна, не сидит сейчас рядом, не ворчит на Коленьку за то, что тот хлюпает громко. Грустно, что прошли мимо них бессонные ночи, первые шаги, первые слова. Первая самостоятельная ложка супа вон досталась как-то случайно. Отрадно, что все же Коленька здесь, с ними, жив и уже здоров. Как бы ни поступала с ним баба Зоя, она все же его спасла. За одно это стоит быть ей благодарной. Слава пресек Анфиску, что принялась было разносить по деревне слухи, выдумывая, как Зоя Ильинична издевалась над мальчиком. Тамросло так, что старушка уж и в Анниной смерти повинна стала. Уже и повитухой ее сделала, уже и роды приняла, уже и столкнула девушку в пруд, а мальчонку себе прибрала и держала его потом чуть ли не в клетке. Нельзя так об Ильиничне! Не таковая она! Встретил Слава Анфиску в магазине, посмотрел на нее строго и коротко сказал: «Хватит!» И так грозно вышло, что и пояснять не пришлось, чего хватит, и повторять дважды тоже не понадобилось. Коленьке устроили комнату в бывшей Анниной. Оказалось, что гораздо легче вынести вещи дочери ради удобства нового человека.

Кое-что решено было оставить: плюшевого медведя, вдруг и Коленька будет крепко обнимать его по ночам, чтобы тот уберег от подкро-ватных монстров (так в своем детстве делала Анна). Теплые носки для того редкого морозного зимнего утра, когда и Елена, и Слава проспят долго и не успеют растопить печь, разогреть дом. Фотографию юной Анны: пусть пока просто девочка Аня стоит рядом с сыном, а всю историю ему расскажут, когда мальчик вырастет. Все остальное, ну, кроме подушек, пододеяльников, простыней и прикроватных ковриков отправилось на чердак: выкинуть жалко,

отдать кому уже поздно. Коленька, правда, повел себя странно, когда его подвели к распахнутой двери комнаты и сказали: «Вот тут теперь будешь жить». Мальчик чуть нахмурился, посмотрел прямо в глаза Елене, затем Славе. Увидев, что те не врут, вздохнул, прошел в комнату, открыл шкаф, залез в него и закрыл дверку. Елена со Славой непонимающе переглянулись. Елена распахнула шкаф, села перед ним на корточки, взяла Коленьку за руку и спросила:

– Ты чего это? – Коленька хмуро смотрел в стенку шкафа. Руки не убирал. – Может, ты устал? – ласково спросила Елена. – Давай я тебе кровать расстелю? Отдохнешь. – Она встала, откинула с кровати покрывало, приподняла одеяло, похлопала рукой по матрасу: – Давай, ложись! – Коленька недоверчиво взглянул на Елену, еще недоверчивее – на кровать, медленно вылез из шкафа, осторожно прикрыл дверку, не менее медленно забрался на кровать и замер.

– Пойдем, не будем ему мешать, – предложил Слава. – Парню отдохнуть надо.

Это надо же: у него теперь своя кровать. И шкаф, в котором постепенно поселились его рубашки, футболки, штаны, а не сам Коленька. Свой стул, свое Зеркало – в нем теперь жил не вихрастый, а вполне себе неплохо причесанный паренек. Впрочем, Коленька уже знал, что это он сам. Чай, не маленький уже. Теперь по утрам его будили ласковыми словами, а порой даже поцелуями в лоб или щеки. Теперь он мог гулять в Задверье, сколько ему захочется. По ночам вот только одному не велели ходить. Но это ничего. Это можно пережить. И мыться, оказывается, не так и больно: с папой Славой в бане и мягкими мочалками. Таковые на свете имеются, да. И телевизор можно смотреть. Здесь никто его не завешивал. Правда, мама Лена ругалась, если возле него долго торчать.

Вот только собак, рвущихся на цепи, Коленька обходил стороной: ужасно боялся. Но не собак, тех он не страшился, а звенящей цепи и ошейников с шипами.

Примечания

1

Бытие 7: 1 (искаженное).

2

Бытие 16: 5 (иск.).

3

Быт. 13: 14–15 (иск.).

4

Бытие 13: 17 (иск.).

Екклесиаст (гл. 6, ст. 7) (иск.).

Притчи Соломона (гл. 14, ст. 12) (иск.).

Притчи Соломона (гл. 23, ст. 12) (иск.).

Притчи Соломона (гл. 13, ст. 3) (иск.).

Притчи Соломона (гл. 3, ст. 30) (иск.).

Бытие 4: 7.

Сирах (гл. 27, ст. 28–30) (иск.).

Притчи Соломона (гл. 17, ст. 22) (иск.).

Бытие 6: 6 (иск.).

Бытие 3: 14 (иск.).

Сирах (гл. 6, ст. 1) (иск.).

Притчи Соломона (гл. 17, ст. 1) (иск.).

Сирах (гл. 3, ст. 29) (иск.).

Сирах (гл. 22, ст. 16).

Притчи Соломона (гл. 20, ст. 5).